

# ДОРОЖЕНЬКА

ПОВЕСТЬ В СТИХАХ

## ЗАРОЖДЕНИЕ

Чернеют вышки очерком знакомым.  
От вышки к вышке день сочится над державою.  
От зоны к зоне звонами подъёмов  
Задолго досвету ликуют рельсы ржавые.  
Похлёбка с рыбкой кошачьей, мучная затишка.  
В прохуженном, пролатанном томительный развод.  
Идут работать лагеря! И наша каторга  
Четырежды клеймённая идёт.  
Так будет год. И десять так. И так же двадцать пять.  
Всё то же самое. Опять. Опять.  
Обыскивать. Считать. Обыскивать. Считать.  
Запястья за спину, покорные, по пять,  
Бушлаты чёрные, вступаем меж тулупов,  
Как медных статуй в отблесках кострового огня,  
И, спины сгорбивши, глаза потупив,  
Идём, как будто бы кого-то хороня.  
Да каждый день и хоронят кого-нибудь —  
На палец бирку голому. Для верности — прокол штыка...  
Заря.  
И — день.  
Жестоко-медленно катится солнце по небу,  
Искрит о землю мёрзлую бессильная кирка.  
Не будет, не было сверкающего мира!  
Портянка в инее — повязкой у лица,  
О кашах спор, да окрик бригадира, —  
И — день, и — день, и — нет ему конца!  
К закату стынет степь. Встаёт луна багровым диском.  
Во тьме толкаемся, скользим, спешим к себе в загон,  
Бригадами суровыми  
Врываемся в столовую,  
Где доходягу, лижущего миски,  
Казнит презреньем лагерный закон.  
Глотаешь жадно щи, не видя где ты, с кем ты, —  
А через стол, в пару, над глиняной посудой,  
То обнищалое лицо интеллигента,  
То дистрофией обезволенная удаль.  
Но тот, кто время здесь расчёл, — расчёл его неплохо.  
Не обменяться словом нам, лишь только вздохом.  
Опять, опять гудит над лагерем звонок.  
Тебе в один барак, а мне в другой.  
Проверка. Строем под замок.  
Отбой.  
Не кончено, не верь! — Я знаю, жду, но мне  
Не победить, не разомкнуть ни на щель век усталых.  
Едва уснём — звонок!! И в ослепительно торжественной луне  
Мы, как в плащах комических, выходим в одеялах.  
Выходим клокоча, выходим проклиная,  
До самых звёзд безжалостных всё вымерзло, всё ярко, —  
И вдруг из репродуктора, рыдая,  
Наплывом нанесёт бетховенское *largo*.  
Я вострепнусь, едва его услышу,  
Я обернусь к нему огрубевшим лицом, —

Кто и когда узнает и напишет  
Об этом обо всём?  
Со светлым пониманием, не в гневе —  
И надобно *теперь* писать, теперь! Довлеет злоба днєви,  
Но равнодушен день к минувшим дням.  
Едва ворочаются мысли жерновами,  
Чуть вспыхнет свет в душе по временам —  
«Но и в *цепях* должны свершить мы сами  
Тот круг, что боги очертили нам!»  
Свой круг начну и я. И поведу — стихами:  
Созвучной, мерной, может быть, сумею уберечь  
Такой ценой открывшуюся речь!  
Тогда напрасно вы по телу шарить станете —  
Вот я. Весь — ваш. Ни клокa, ни строки!  
А к чуду Божьему, к неистребимой нашей памяти  
Вы не дотянете палаческой руки!!!

Мой труд! Год-за-год ты со мной созреешь,  
Год-по-году Владимиркой пройдёшь,  
Наступит день — не одного меня согреешь,  
Не одного меня ознобом обоймёшь...

## ВСТУПЛЕНИЕ

Где и когда это началось?..  
Друг мой издавний, — когда?  
Чистое стёклышко мира ребячьего,  
Грозно дохнув, замутила беда?  
Вспомним ли крест перепутья  
Трудного,  
Скращенных прутьев  
Над нами тень,  
Ужаса безрассудного  
Первый день?

Изредка нам проступали зримо  
Знаменья страхов *потусторонних*, —  
Мы проходили вчуже, мимо,  
Скрывши лицо в ладонях.  
Слабым, хотелось нам просто  
Забуть их,  
Лад своей жизни оберегая,  
Дом свой, уют свой, вещи —  
Поступь  
Событий  
Зловещих  
Минула, не задевая...

Так и теперь, когда стонами  
*Наша* душа пролилась, —  
Те, кого это не тронуло,  
Думают ли о нас?..  
Не слышать, имея уши,  
Не видеть, глаза имея, —  
Коровьего равнодушья  
Что в тебе, Русь, страшнее?

МАЛЬЧИКИ С ЛУНЫ

Странствовать!.. Ликует сок бродяжий!  
Дорвались и мы с тобой до воли!  
В двадцать лет — сопеть на крымском пляже?  
Наша, наша! — бьётся на приколе —  
Вёсла сложены, как связанные крылья,

Просится в полёт!

Водяной зеленоватой пылью  
Обомшелую бударку обдаёт.  
Первобытно раздувая городские ноздри,  
Тянет с Волги свежестью, и остро  
Побережье пахнет рыбой и смолой.  
Хлеба — не купить. Припасено немножко  
Сухарей у нас да пуда два картошки,  
Высыпанной в ящик носовой.  
Не щенки мы, нет! — как мореходы встарь,  
В краску белую макая голый палец —  
Уж давно продумано: «Волгарь —  
Скиталец».

Ну, толкай! *Примат матери*, на слове не лови,  
Всё же — Господи, благослови!..

---

Звон и гуд... И тракторы рычат у перевозов,  
Кони ржут, скрипят грузовики,  
Сизо-масляна идёт вода с навозом,  
И толкутся волны поперёк реки.  
Густо-чёрный выстилая дым,  
Буксирок, вцепившись невподым,  
Тянет баржи две, как две скалы.  
Двухэтажные, легки, белы,  
Разминутся пароходы, радостно гудя.  
И деревни целые — плотами  
С избами, коровами, бельём и петухами  
Медленно спускаются, реку загромоздя.

А и в русле не одна дорожка:  
Не гребём — течение выбивает  
В мирную воложку,  
В нераспуганную тишь —  
Рыба на-солнце серебряно выигрывает,  
Юркнет птица в островной камыш.  
Изливает с неба синева.  
Вёсла трепетные вывесим — и двинемся едва.

Что-то дед смолёный ладит топором...  
С ним мальш, две удочки забросил...  
Нестерпимо брызжут серебром  
И топор, и капли с наших вёсел...  
И опять затягивает в стрежень.  
И блеснёт едва повыше осокль  
Уцелевшей церкви в глубине прибрежья  
Крест — и серенькие куполки...

Вечер. Солнце западёт за берег горный,  
И вода сгустеет в изумруд,  
И огни зажгутся в белых знаках створных,  
Шумы дня притихнут и замрут.  
Отразятся с кручи в стынущие воды  
Скалы, обнажённые породы,  
Купы лиственных и пики чёрные хвои, —  
Бакенщик, старик рыжебородый,  
Объезжает бакены свои.  
И уж на ночь, только солнце сгаснет,  
Водный путь отмечен столбовой —  
Там, где *горный* берег — бакен красный,  
И — зелёный там, где *луговой*.  
Исчезают тени, и мягчеет небо.  
Проступает точка первая Денеба,  
Все созвездья выводя изглубока.  
Плёт утих. Ни лодки рыбака.  
Оселяет Волгу только звёзд шатёр.  
Ну, и нам на берег: сушняк  
Подсобрать да развести костёр.  
От костра всё сразу потемнеет —  
Волга, небо, побережья глубь,  
Мы — к огню плотней и ждём, пока поспеет  
В котелке картошка или суп.  
Из-под крышки сладкий пар клубится,  
Зверь-костёр клыками сучья рвёт,  
По воде прошлёпают неслышно плицы,  
Проскользит, сверкая, пароход,  
И по тёмной глади бледным светом мрея,  
В полноту беззвучной ночи канет...  
В смуглых отсветах лицо Андрея,  
Лоб его печаль пытливая туманит.  
Внутренне сцеплённых выводов коварство  
Вот не ждал, куда его направит! —  
«Оглянись, Сергей, подумай.

Чувствуешь, как *давит*

На тебя, на всех нас — государство?»  
Я смотрю на звёздный свод извечный,  
Слышу вольный шорох всплесков в тишине  
И от всей души, чистосердечно  
Удивляюсь: «Давит? Государство? Не-е».  
После гребли по телу приятная истома,  
Что к краям — расплывчатей лицо освещено...  
Как давно, дружище, мы знакомы,

Как давно!..

Помню твоей детской курточки вельвет,  
Несогласие упрямое с немецкими глаголами,  
Наши шахматные страсти, меж двумя футболами.  
Вместе нас кружил извивами весёлыми  
От Байдар к Ливадии велосипед,  
Подымал Военно-Грузинскую от Ларса.  
Вместе аттестаты понесли в Университет,  
И обоим нам ударил буйный свет  
Гегеля и Маркса.

Математика. И физика. Но для души  
Их священной строгости нам оказалось мало:  
Подлинно, что точные науки — хороши,  
Да не строгости, а счастья людям не достало.  
И пошли на исторический в МИФЛИ,  
Порешив, что с парой факультетов справимся,  
И давно согласно к выводу пришли:

«Мы нам нравимся».

Как не нравиться, когда так чётко сведены  
К стройным формам мир и человек?  
Сколько нами дивных вечеров проведено  
В мудрой тишине библиотек!  
Сколько раз не хожено в кино!  
Сколько жертвовано вечеринок!

Я безумец, я фанатик, — но —

Но Андрей мой — инок.

В миллионном городе, в блистании огней,  
Там, где вечер — лучшая пора,  
В пять минут десятого ложится спать Андрей  
И встаёт — чтоб думать — в пять утра.  
Как по Канту время мерь —

он в шесть пройдёт по дворику

И вернётся записать, что понял в утре чистом.  
Хочет стать он, как и я, историком,  
Но для этого ещё — экономистом.  
Том за томом я гоню взаглот,  
Я истерзан весь, я в спор нырну с наскока,  
Взор застит восторженно слеза, —  
Он мне тихо, мудростью Востока:  
«Прежде, нежели открыть свой рот,

Друг, открой глаза!»

Это — то влечение, род недуга,  
О котором написал поэт:  
Книга, стол и мы друг против друга, —  
Никого на свете больше нет!  
Распадутся волосы-неулежни мои  
Над лицом горячечным, но бледным,  
Ближе — сходимся — яснеем — и! —  
Запись отточенная о выводе последнем.  
И не жаль обоим эту странную,  
Без вина, без девушек сухую юность нашу...

Вот и ужин! Ложки расписные деревянные  
Мы вонзаем в ячневую кашу.  
После ужина на сене в лодке мягко.  
Лёгкой зыбью чуть вздымается корма.  
Всю Историю — от нас до братьев Гракхов,  
Высветил прожектор Марксова ума.  
Маркс! — как меч, рубящий путаницу партий!  
Не блуждать у Лейбница, у Юма, у Декарта,  
Только-только вылупясь из жёлтеньких скорлуп,  
Держим в клювах Истину и мечем взоры вглубь!  
Есть закон движения! Другого Абсолюта  
Нет! И как там было — сердобольно, круто,  
Нравилось, не нравилось, — минует постепенно.  
Всё пройдёт: Сената гнев и куриий плеск и пена.  
Желчь упрёков, звон разящих слов  
Не всплывут на высоту веков.  
Воин Рим, бронёю перевитый!  
Шаг Истории, не знающей пощады! —  
Гордое отчаянье самнитов,  
Умное бессилие Эллады,  
Ярость Брута, Ганнибала гений —

Всё должно быть сметено и сбито,  
Что само не станет на колени.  
*Dura lex, sed lex.* Во всём закон.  
Ничего, что б в сторону свернуло.  
Ничего? И даже шут Нерон?  
И кровавое захлёбыванье Суллы?  
Фатализм! Эклектика! Неверно!..  
...Но Андрей молчит и дышит мерно  
В лад дремотным заплескам волны.  
И спине тепло от дружеской спины.  
За ночь иней нас покроет впробель.  
Утром вспрыгнем, зубы бьёт ознобик,  
И — бултых в синеющую воду!  
Холодом озноб тот вышибить приятно!  
И — бегом, в чём родила природа,  
По камням! на взгорок! и обратно  
На песок! поборемся! и в танец!  
Дикарём разнузданным пляши,  
Пока тело вызорит румянец,  
Да ори! — всю Волгу полоши!  
А теперь хватайся каждый за весло —  
Оттолкнулись! Понесло!

---

Солнышко пригреет — не гребём, лежим.  
Лодку сносит тихо, мы себе зубрим —  
Снова диамат, латынь и древний Рим.  
Купим яблок, тут их мерят на ведро,  
И грызём, и дремлем... Всё б у нас добро,  
Только ни брезента, ни плаща —  
И на небо часто смотрим, трепеща.  
От грозы, дождя мы беззащитны.  
Как нам стал понятен первобытный  
Ужас перед силою богов:  
Только что покинули мы крыши  
Наших равнодушных городов —  
И уже иначе видим, слышим,  
Туча наплывёт — мы сжались, мы не дышим,  
Ветер кажется — злопамятный, живой,  
«Завтра я...» — не скажем, верим в глаз дурной.  
Завтра день — смотри ещё какой!..  
На недели тучами затянет  
Небо. Будет Волга холодна,  
Заколышется, волною спорной станет  
Глину выворачивать со дна.  
Попадись тогда на волнобое!  
Повернись бортом! —  
Пляшет, мечется седое, водяное  
То на этом, то на том!  
Берег в брызгах. Чёрно дышат трубы.  
Грязь на пристанях. И дождь — безугомонь.  
Шутки грузчиков и ругань дерзко грубы,  
Но и труд их стоит этой ругани.  
Экую ворочают махину!  
В сорок рук вздымают! Ну как рухнет?..  
«Э — э — эх, ду — би — на!..  
Ух — нем!!  
Зелёная! Сама пойдёт! Сама пойдёт!  
Подёрнем! Подёрнем!»  
Вымахали с покриком задорным —  
Там, голубушка! — и с паром, хрипом, храпом  
Сыпят, топают, валят на берег трапом.

Те мешки подкинули, те бочки катят ловко...  
Третьяковка??  
Обогнали Англию в лебёдках, кранах, планах, —  
Так откуда ж этих дьяволов-то рваных?!..

---

Дождь и дождь. Уж нам не плыть сегодня.  
Подгребаем к дебаркадеру под сходни —  
Всё же крыша, хоть и брызжет из щелей —  
И идём в черёд порыскать чаю.  
Новодевичье в лаптях тебя встречает  
И в азиях рваных Сенгилей.  
Райпартпрос, Райком и Райкомол,  
Райуполминзаг и Райзаготконтора.  
И районный юродивый, полугол,  
Смутлогрудый, клянчит у забора.  
Чаю мне! — продрог на сумрачной воде.  
Раймилиция. Райплан. И РайНКВД.  
Мокнет «Правда» на витринке. С тёмно-хмурых  
Сеет мелкий-мелкий дождь с небес.  
Райтюрьма, Райсуд и Райпрокуратура,  
Райсоцстрах, Райздрав и Райсобес.  
Там, где, дети горя и отваги,  
Бурлаки под бичевой тянулись в на́пряге, —  
Закрывая полки голые, в Раймаге  
Продают физическую карту... Африки...  
На столбах бубнят колхозные частушки  
Близ Райклуба громкоговорители,  
Под забором рубят головы косушкам  
Жители.  
Нет теперь ни *кабаков* на Волге,  
Ни *Николки* нет, ни *монополки*,  
Ни в церквях колен не гнёт никто, —  
«Эй, молодка!  
Литру водки!  
Два по двести!.. Три по сто!»  
Пар одежд сырых и сизый дым махры,  
Окна мутные, спиртовые пары.  
Густо-густо вокруг некрашенных столов —  
«Нам салатик!» — вопят, рыдают, — «огурцов!»  
Вот охотник смяк, склонясь к дробовику,  
Ловит блох борзая под столом.  
«Будьте так любезны! Дайте мне чайку!»  
— «Ча-ай?? Не подаём!»  
Над столами русский чин трисловьями порхает,  
Лица смотрят масляно, слепо.  
И ревут «Златые горы», оглашая  
Чайную Райпо.  
И лохматый грузчик, мой сосед,  
Дядя Миша, мужичина-глыба:  
«Чаю зря ты, малый, просишь. Чаю нет.  
На сто грамм перцовки».  
— «Я не пью. Спасибо».  
— «Ах, *культуриш руссиш!*.. Ну, кажи свой ум.  
Ну, скажи, что водка — это *а-пи-ум...*»  
— «Хвастать тоже нечем. Лёгкие и печень...»  
— «Хо! Ты — тюря! Печень! Этим душу лечим!  
К-комсомолец! Пожалел!.. А дать тебе винтовку,  
Да — на вышку?.. Ну, не зявься, вышей стограммовку.  
И мои б такие были... Пей, не брезгуй».  
— «Где ж они?»  
— «Сопрели. Под сосной карельской».

— «Отчего ж?»

— «А это очень просто мы:

В тундру высадили голыми да босыми,  
Ну, а в тундре и волкам не рай.  
Рыбу пальцами словить сумеешь — ешь.  
Ягоду найдёшь дикую — собирай!  
Хочешь если, так друг дружку режь.

Хочешь — помирай...»

— «Но простите, но за что же вас?»

— «Ты — с луны? В *тридцатом-то*?

Не знаешь, что да как?

Потому что был сочтён кулак,  
Ну и... Ликвидировать. Как класс.  
... Я за землю, парень, да за волю,  
Да за эту грёбаную власть

Шёл на Колчака...

Землю дали — тёр, дурак, мозоли,

А они меня — ша-расть

В кулака!

Да кого ж она, земля, не богатит,  
Если только вкалывать здоров?  
Государство! Чтó ему претит,  
Если у крестьян да по три пары лошадей?»

—————

Юность верит. И она права.

...Но прошло-то года, слушай, *двадцать два!*

До каких же пор мы будем зря

Сваливать на бедного царя?

Зафиксируем: в раймаге — ни черта?

Это — нищета?

Тише! Тише! Склонность к выводам поспешным.

Никакой прогресс не может быть безгрешным.

Отклоненья, исключенья — кто же говорит?

Ведь писал Истории законы не Эвклид!

Роют трудно, роют по-кротовьи,

А оглянешься — и мир уже не тот.

Жестоко? Приходится и кровью

Заплатить за тяжкий путь вперёд.

Мы не только что не против, —

мы оправдываем даже:

Ликвидировать? Конкретно — как? Куда ж их?

В тундру. В дикий лес.

*Dura lex, sed lex.*

Трудно мы живём. Дай время, будет лучше.

Внуки примут жизнь, не зная, как далась...

Вот и солнце прорвалось сквозь тучи,

И покорно Волга улеглась.

Так за вёсла твёрдою рукою!

Поплыли,

Где на двести вёрст Самарскою лукою

Волгу отшвырнули Жигули.

Сладость есть и в малом и в великом.

Между сосен, вперегонку, с перекриком

Вымахнуть, запыхавшись, на кручу! —

Тут раскинуться на выгретой, пахучей

И никем ещё не топтанной траве;

Отдаваясь тишине дремучей,

В небо жмуриться без мыслей в голове,

Никому и ничего не должен...

Жи-гу-ли!.. Какая-то в вас правда!..

Раздробилось зеркало в Заволжье  
И застыло в озерах-бакалдах.  
Нет теченья! Плёсы недвижимы.  
Близко дальнее, а крупное — малó непостижимо.  
С коробок от спичек — баржа на подчале.  
Замерла ли? Тянут её таском?  
Хоть заплачь от этой веющей печали!  
Хоть христосуйся — такая в сердце Пасха!..  
Мирный бор овершьями кольшет,  
Запахом смолы и солнца пышет.  
Жёлто тлеют иглы в медном сосняке.  
К югу, поверх сосен  
Облачко относит  
Медленно, в покойном высоке.  
Под травой краснеет земляника,  
И грибы столпились возле пней.  
Разве в малом меньше, чем в великом  
Беской мудрости коротких наших дней?..

---

Через день взгляни на правый берег —  
Сланец, скалами пластованный, белесый,  
Стук стволов паденья, пил железный верезг,  
Люди серые с лопатами, кирками  
Горы облепили муравьями.  
Экскаваторы, лебёдки, вагонетки,  
Грохот, скрежет, и столбится едко  
В лёгкие и в небо каменная мгла...  
Это будет чудо Третьей Пятилетки —  
Перемышка Волжского Узла.  
О, грядущее переустройство мира!  
Мы войдём в тебя наукой и уменьем!  
...А кому кирку?.. Не из-под наших кирок  
Пусть разбрызгиваются каменья!  
Привезут, найдут неученную рать, —  
Что над этим голову ломать!  
...Так мы плыли в гладком беззаботьи,  
И, наверно б, нам на ум не вспало:  
Что за люди там кишат в лохмотьях?  
Что за люди бьют вручную скалы,  
Катят тачки в гору по тропинкам? —  
Сам, как глина, побуреет человек...

В невесёлом месте, в Красной Глинке,  
Мы однажды стали на ночлег.  
Правый берег вскопан, взбугрен, бурый.  
Штабелями досок и бревён,  
Мусором, щебёнкой — левый завалён.  
Перекатом Волга мчится хмуру.  
Мы причалили, да плох нам вышал сон:  
Выстрел. — Новый. — Очередь. — И ржавый  
Звон от рельс на нашем берегу.  
С фонарями в зарослях облава  
Заплясала, заметалась на лугу.  
Засветились пристань и бараки,  
Шли моторки, воду Волги пеня...  
Из моторок прыгали собаки,  
Заливаясь в ярости и пене,  
За собой вожатых мчали в темень,  
Хрипло лаяли и обрывали привязь,  
Кто-то выволоч на берег пулемёт.  
Словно в бой, с винтовками навывес,

Пробежал запыхавшийся взвод.  
Не понять — война или охота?  
Ладно, греемся; не трогают — и рады.  
Вдруг у нас над самым ухом кто-то:  
«Вот они! А ну, вставайте, гады!  
Подымайтесь! Застрелю, заразы!»  
Шутки плохи, тут не отлежаться.  
Из-под одеяла высунулись разом —  
Вислоухие испуганные зайцы:  
— «Мы — туристы. Что вы к нам, товарищ?»  
Но *товарищ* плонул от обиды.  
— «Хто? Туристы?? Шляются здесь, твари...  
Чтобы я на Волге больше вас не видел!»  
Перекошенный, разгорячённый,  
Освещён недоброй дрожью света,  
Пляшущую руку с пистолетом  
Долго опускал он, огорчённый.

---

Их всю ночь ловили. С места заклятого  
Мы ушли под утро, торопясь уплыть,  
Чтоб не рвать, что в сердце дорогого.  
Чтоб не думать. Чтобы позабыть.  
Подымалось солнце над лугами.  
Красное, в торжественной игре,  
Жигули оно зажгло, как пламя,  
Озарило мёртвые машины на горе,  
Раздробилось радугой росяной через лес,  
Багряницей разостлало водной глади скатерть, —  
И вот тут-то вывернулся нам наперерез

Арестантский катер!

Он скользнул, едва нам нос не срезав,  
И послал короткий частобой,  
Он прошёл, как будто гром железа  
Кандалов рассыпал за собой.  
Буторками волн взбелели волоконца,  
Закипела, забурилась полоса реки —  
Эти лица! лица, обернувшиеся к солнцу!  
И с бортов — конвойные штыки.  
Вот они, кто там кирками машут! —  
Только нескольких и рассмотрели мы.  
Кто они?.. За что их?.. Не расскажут...

Тихие, стояли у кормы.

Что-то было в лицах их заросших,  
В складках, не черствеющих у глаз,  
От чего пахнуло всем хорошим,  
С детских лет несбывшимся повеяло на нас.  
Оба без отцов, ведь мы и шли бродяжить  
По краям родной неведомой земли,  
Чтоб мужскую взвесить эту тяжесть,  
От которой матери, солгав, уберегли.  
Нас заметили. Переглянулись.  
Может, вспомнили своих мальчишек-сыновей.

Чуть заметно

Вслед нам

Улыбнулись,

И у каждого по-своему взметнулось у бровей.

И — промчал катер. И Андрей в сомненьи  
Протянул: «А что, сейчас бы к Самому  
Молодой, второй явись бы Ленин, —  
Он бы — не попал в тюрьму?..»

## МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

*Несу я сознание мира.  
Боюсь, что не в силах донести.*

В. Гофман

До опушки — один переклик без малого.  
В сени яблонь при тлеющем самоваре  
Вечерами чают московские баре:  
Слева в садике спорят о Ваське Качалове,  
На террасе направо читают сценарий.  
За кустами белеют мужские фигуры,  
Праздных женщин движения — не лёгкий, —  
От самих же себя, от своей же культуры  
Убегают на лето сюда толстяки —  
От редакций и секций, премьер театральных,  
От квартирных теснот, телефонной судьбы, —  
Убегают сюда, в край ремёсл вышивальных,  
Беспривозных базаров, прилавков печальных,  
Где сельпо продаёт лишь сухие грибы.  
Отрубивши своё песнословие веку,  
Отнеся гонорар к Елисееву,  
За сто вёрст сюда сахар везут по рассеянно,  
Чемоданами сало и бэкон,  
Для хозяйки сговоренной — ситчику в дар,  
Для работы полуночной — пачки сигар,  
Кофе в зёрнах, вино и запас керосина.  
...Над Тарусою сумерки звёздные сини,  
Слышен блюдечек позвон и пенье гитар.  
Ждут их осенью кассы столицы грешной  
И страницы журнальной хвальбы.  
В ряд их дач, не по чину — бревёнки потешной,  
Кругляши нашей маленькой тихой избы.  
Нет в саду у нас кресел и столика чайного,  
Нет огней и гостей под навесом крыльца, —  
Всё вдвоём... И на пальце твоём — обручального  
Золотой отлив кольца.  
Нет у нас нагружённого доверху ледника,  
Порожнём мы с базара приходим нередко,  
Но как мило хлопчешь ты в белом переднике,  
Увильнув: «Подгорит», убегаешь к загнетке.  
...Драгоценного света дневного крупницы  
Вот-вот-вот разойдутся меж теней вечерних, —  
Дальше-дальше в окно, ближе-ближе к странице

Я слеплю себя строк неразборчивой чернью.  
И уж всё отшвырнуть бы давно мне пора,  
Встать, схватить тебя за плечи, закружить, —  
Не могу, не додумавши, отложить  
Годы царствования Петра.  
Всё понятно — *прогресс!* А сидит во мне ересь:  
Всю страну на дыбы — по какому праву?  
Запишу! Назову его — «шведский тезис»,  
Оправдала ли цену свою Полтава?  
Двести лет всё победы, победы, победы,  
От разора к разору, к войне от войны, —  
А разбитые нами на Ворксле шведы  
Разжирели, как кашлуны.  
Рок зловещий российские полчища водит.

Славы мало!

Земли не достало! —

Да...

Видно, слово «победа» не зря происходит  
От слова «беда».

Погоди ж, дорогая, окончу, дочту,  
Тени вечера выйдут из-за леса —  
Мы пойдём, обнявшись, и на нашу чету  
Будут встречные взглядывать с завистью.  
Вот не думал, что буду на даче  
Жить, как дачник исправный живёт...  
Есть у каждого годы удачи,  
И таким обернулся мне мiнувший год —  
Словно звёздным дождём мне дороги усыпало,  
Словно горы верстались мне по плечу,  
Словно есть это счастье, и мне оно выпало:

Всё могу, чего захочу!

Под ногами любая наука стлалась,  
Быстромудрые бесы вселились, казалось,  
В грудь мою — и толкал меня каждый бес,  
Одержимый мгновенными планами,  
Томы будущих лет выросли до небес  
Краснокрыльми великанами,  
И вползла ядовитая слава. О славе  
Где те юноши, что не чахли?  
Незнакомые девушки письма мне слали,  
И таинственно письма их пахли.  
Содрогалась Европа надменная, отдана  
Шагу армий, невиданных раньше,  
Чёрным гневом возмездия небо над Лондоном  
Застилалось из-за Ламанша,  
Воды пенились, судна роились,  
Напрягались десанты, готовясь к прыжку... —

В это лето мы поженились

И поехали на Оку.

---

Мы привыкли к южным степям —  
Золотая в сто вёрст ладонь,  
Ни единого взгорка там  
На бегу не встречает конь,  
И нигде ни единый лесок  
Не вклиняется в звень пшеницы,  
И едва только вспыхнет восток, —  
Степь до запада озарится.  
Здесь же — падей прохлада, здесь — синяя тень,  
Ямку каждую дождь наливает всклень,  
Позарос, весь в отрожках изрезан овраг,

Там спустился в него, там поднялся большак.  
Сосны стройные веют на взлобке,  
Между ними — дубы вперемес,  
Там — ольха, там — берёза. Подыместся. Робко  
Вступим в бело-зелёный лес.

    Это счастье  
    Даётся не часто,  
    А не каждый его оценит —  
    Забрести вот в такую чашу,  
    Где листов прошлогодних олово,  
    Положить к тебе на колени  
    Голову.

Солнце еле пробрызнет сюда,  
Небо еле сюда просветит,  
Разве только, беспутный чудака,  
Забредёт, заблудившись, ветер  
И доносит, как где-то аукают  
И хохочут девчёнки-грибовницы,  
Помавая ветвями, баюкает:  
«Всё достигнется... всё исполнится...»

### Ж а л о б а

    «А чему исполняться? Чему?  
    Я о большем и не мечтала.  
    Всё исполнилось. Почему  
    Тебе этого счастья мало?  
Мало нравлюсь тебе? Плетеницей  
    Из цветов себе лоб украшу.  
Хочешь думать? Какую страницу  
    Распахнуть тебе в книге нашей?..  
    ...Как бежал молодой дворянин  
    Со знаменем,  
Как очнулся он навзничь, раненым,  
    С небесами один на один —  
    И увидел, какой  
    Покой  
    Был по небу высокому разлит.  
    В суматохе большого боя,  
    Когда к славе рвалась рука,  
    Разве  
    Мог увидеть он над собою  
    Эти медленные облака?..  
Но ведь мы-то, ведь мы-то можем!  
    Посмотри — и сейчас плывут.  
    Что же ищешь ты, что же?  
Я не верю, что люди на свете живут  
    Кроме нас и ещё там где-то,  
    Когда ты меня обнимаешь...  
Повторяй мне, что любишь меня, только это,  
    Понимаешь?..  
    Ты настойчиво, ты упорно  
    Что-то хмуришься о своём.  
    Не легко тебе, не просторно  
    Со мной вдвоём?  
Выпить, вытянуть сердце из груди,  
    Чтобы мой был, чтоб мой был весь!  
Я не знаю, что завтра будет, —  
Я люблю, что сегодня есть.  
Только ты ведь обманешь: кольцо  
    Моих рук на заре разомкнёшь —  
    Почужевший, холодный, уйдёшь  
    Карла Маркса читать на крыльцо.  
    Станет звонкий пастуший рожок

По заре собирать своё стадо,  
Я проснусь и увижу, что рядом  
Нет тебя, что опять уволок  
Тебя жребий твой, выбор жестокий.  
Я неделю всего как жена,  
А опять просыпаюсь одна  
И полдня провожу одинокой.  
Милый, славный, ты брови не хмурь  
И не бойся — я не заплачу.  
Значит, надо забыть мою девичью дурь, —  
Мне ведь всё представлялось иначе.  
Не мужчина я. Жалобу слабости  
Ты прости мне на этот раз...»  
И украдкой влажные заблесты  
Она пальцем снимает с глаз.  
Вот оно!.. Я кощусь с опаскою  
На лицо неразгаданно женское...

---

Вспоминаю: акции спуска Крещенского,  
Седину оснежённого Новочеркаска...  
Мы проходим вокзал, за вокзалом крыльцо,  
В сто одежек окутаны, ждут лихачи, —  
И у каждого жёлто манит копыце  
Недрожаше-горящей свечи.  
Полусонного мальчика взяв из вагона,  
Высоко подсадив, меня взвозят покачливо  
В город, на гору, — фаэтоном  
Меж сугробов, огромных взгляду ребячьему.  
Фаэтон проплывает спокойно, как лебедь,  
Лёд цветится огнями в оконных рамах,  
И сияет луна в замороженном небе,  
Отражаясь в крестах и на куполах храмов.  
Позади пятиглавой громады собора —  
Попирающий камень строптивый Ермак,  
Что ни дом — за твердыней ворот и забора  
Взаперти от Советов упрямый казак,  
Сберегая течение обычья богатого,  
Сведомно живёт, как живали отцы.  
Двудорожным широким проспектом Платова  
Заливаются лёгких саней бубенцы:  
— Эх, ты, удаль-тоска, раскружить тебя не на что!  
Хеп-па-па-берегись застоялых зверей!! —  
Богомольный народ, разбредаясь от всенощной,  
Подаёт милостыню калечным и немощным  
На изглаженных папертях стройных церквей.  
Их степенному шествию дерзко невладе,  
Хохоча и толкаясь, студенты валят,  
Неуёмные, жадные жить, несытые,  
В институтской столовой свой ужин выстояв, —  
На свиданья, в читальни, в кино, в общежития  
Тротуарами улицы Декабристов.  
И гудят до полуночи лаборатории,  
Ослепительный свет над столами чертёжников,  
В клубе — диспут любителей Новой Истории  
И Союза Воинствующих Безбожников.  
А за ставнями тихих домов затаивший  
Неушедших, непойманных, белых, бывших, —  
Что за город такой? Всё кипит, но ни слова  
Не сойдёт у прохожего с замкнутых губ, —  
Стольный город разбитого Войска Донского, —  
Антиквар, книгочей, книголюб.

Слишком мал понимать, только щурю глазёнки,  
Как на сбруе звенящей играет луна,  
И не знаю, что в доме, — вот в этом, — ребёнком,  
Моя будущая растёт жена.

Семилетье российской лихой безвременщины!  
Свист и дым по стране от конца до конца! —  
Сколько нас воспитали пониклые женщины,  
Сколько нас не знавало руки отца!  
Пятилетнюю девочкой в кружевцах  
Ты отведала первых учений тернии,  
Изъяснялась в учтивых французских словах  
И разыгрывала этюды Черни.  
Ни за дверь, ни в толпу! (Наберётся, ma chère,  
Этих выходов, этих манер!)  
Тем охотней узнала ты книгам цену,  
А в семейном кругу, в воскресенье,  
Дверь из комнаты в комнату делала сцену  
Для домашнего представленья.  
И когда собирались по сходству подруги,  
Повелитель был обществу вашему нервному  
Реже — добрый весёлый Пушкин,  
Чаще — жёлчный презрительный Лермонтов.  
Лет в четырнадцать сердца отчётливей стук,  
Что-то смутно томит, что-то поймано понаслышке,  
Но *посмотришь с холодным вниманьем вокруг,*  
А вокруг — маль-чишки!..  
Так пускай литераторша мажет тетрадки,  
Пусть галдит, что герой ваш — одни недостатки, —  
Разве это в его фосфорическом взоре?  
Бледном лбу? сжаты губ? и в усах завитых?  
Через всё полюбился девчёнке Печорин!  
А Печорина нет давно в живых.  
Ждешь, что жизнью тебе уготовано диво,  
Но проходит юность, в меру счастливо,  
В меру ровно, — а дива нет.  
Выпускные экзамены сдав торопливо,  
Поступаешь в Универс'тет.  
...Образ к образу рядом затенчивым,  
Местом меркнувшим, местом ярким,  
То я вижу тебя на балу студенческом,  
То в измученном зном вечернем парке.

Не Печорина — духов сомнения едких,  
Подмело их при сталинских пятилетках.  
Их приносное семя и раньше-то плавало,  
Не ныряя по омутам русской реки.  
А коряги в ней — мы, убеждённости дьяволы, —  
Духоборы, самосжигатели,  
Бунтари, проповедники, отлучатели,  
Просветители, вешатели, большевики!  
Угроздило же тебя родиться  
В тре-тревожной стране, под разбойный шум,  
Где как прежде, где в каждом десятом таится  
Протопоп Аввакум.  
Однолоб. Однотум.

Я! Я верю до судорог. Мне несвойственны  
Колебания, сомненья, мне жизнь ясна,  
И влечёт меня жертвенное беспокойство  
От постели, от нежности, ото сна.  
Рвёт и рвёт моё мясо Дракон,  
И где лапу положит — отдай, оставь ему! —

Это Горе Истории, Боль Вре́мён,  
Мне волочь его, как анафему!  
Да, я звал тебя, звал. А дороги круты.  
Я зачем тебя влѣк? В каком чаду?  
Не иди! Ты слаба. Переломишься ты! —  
Я не знаю — я ли дойду...  
Рай зелёный... Ничто не радует.  
Там столицы взрываются, бомбы падают!  
Вся планета в ознобе! планета в трясении! —  
Вот! Пищу:

М о е м у   п о к о л е н и ю

Родились мы — не для счастья  
Бредит, буен мир больной.  
Небывалое ненастье  
Захлестнѣт нас! Будет бой!!

Перед тяжким наступленьем  
Пусть же скажут правду нам,  
Как умел Владимир Ленин  
Говорить её отцам:

Враг — не трус, не слаб, не глуп он! —  
В нас не верит тот, кто лжѣт.  
Мы — умрѣм!! По нашим трупам  
Революция взойдѣт!!!

Из Октябрьской мятели  
Поколение пришло.  
Чтоб потом цвели и пели,  
Надо, чтоб оно — легло...

Уж не помню, ещё что слетело  
С языка у меня в пылу,  
Только помню: жена побледнела  
И щекой прислонилась к стволу.

Так я бил, беспощадный и мрачный,  
Словом-о-слово, в слово словом.  
Этот месяц — первый побрачный,  
Называют в России медовым,  
*Honey-moon* окрестили его за проливом,  
У французов он назван — *la lune de miel*,  
Одарѣн и у немцев прозваньем счастливым  
*Flitter-Wochen* — поблескивающих недель.  
Как обманчива ласковость этих названий!  
Даже камни — притрѣшь ли, не обломав?  
Два бунтующих сердца! Меж вами  
Кто виновен? кто прав?..

Ветер осени  
Шепчет на уши.  
Лес обрызгало  
Желтизной.  
Лето кончилось,  
И пора уже  
В грохот города  
Нам домой.  
Первый замороз,  
Утро терпкое.  
Окский катер.

Речная рань.  
Дом Поленова.  
Старый Серпухов.  
И дорога  
Через Рязань.  
Русских станций  
Скончанье света.  
Все вповалку  
До загородок.  
Лица в мухах.  
Лежат в проходах  
В полушубках.  
И ждут билетов.  
Нет билетов!  
Посадки нету.  
Манька, где ты?  
Маманька, тута!  
Кто с мешками,  
Без *пропусков*,  
С пропусками  
И без мешков.  
Смех и молодость  
Нам защитюю.  
Ещё б с ними  
Не уместиться!  
Встречный ветер  
В лицо раскрытое  
Облохмачивает  
Наши лица.  
Звонко-кованый  
Быстрый поезд.  
Машет мельница  
Вдалеке.  
Мы уходим  
В окно по пояс,  
Прижимаясь  
Щека к щеке.  
Скоро станция.  
Ходу сбавило.  
— Отодвинься же.  
Слышишь, милый?..  
На полуслове

Вздрыгнула Надя и руку мне боязно  
Сжала. И я ей сжал.  
С грохотом поезд наш вкопанно стал  
Против товарного поезда.  
Красные доски вагонов измечены —  
Нетто и брутто, осмотр и ремонт, —  
Только окошки у них обрешечены  
Да через двери — болт.  
Красным закатным лучом озарённое,  
Вровень над нами пришло одно  
Прутьями перекрёщённое  
Маленькое окно.  
Лбы и глаза и небритые лица —  
Сколько их сразу тянулось взглянуть! —  
Кажется, там одному не влезть  
Воздуха воли глотнуть.  
В грязном поту, в духоте, в изнуреньи,  
Скулы до боли друг к другу притиснув,  
Глянули злобно на наше цветенье —  
Выругались завистно —  
Грубо плеснули в лицо нам побранку

Лишкой несмывчивой грязью! —  
Наш отлощённый состав с полустанка  
Тронул с негромким лязгом.  
Тронул, но ты-ся-че-ле-тье волок он  
Нас! нас! нас! —

Вдоль новых и новых закрепленных окон,  
Под ненависть новых глаз.  
Резко проёмы вагонные хлопали,  
Вот уж мы вырвались, вот уж мы во поле!..  
Сумерки. Отблики топки по шпалам.  
Низко курилась туманцем елань.  
... Но как проклятье в ушах звучала,  
Но как пророчество не смолкала  
Та арестантская брань.

\* \* \*

Нет, не тогда это началось, —  
Раньше... гораздо раньше...  
В детстве моём обозначилось,  
В песнях, что пели мне, няньча, —  
Крест перепутья  
Трудного,  
Скращенных прутьев  
Тень,  
Ужаса безрассудного  
Первый день.

Книг ещё в сумке я в школу не нашивал,  
Буквы нетвёрдо писала рука, —  
Мне повторяли преданья домашние,  
Я уже слышал шуршание страшное —  
Чёрные крылья ЧК.

В играх и в радостях детского мира  
Слышал я шорох зловещих крыл.  
...Где-то на хуторе, близ Армавира  
Старый затравленный дед мой жил.  
Первовесеньем, межою знакомою  
Медленно с посохом вдоль *экономики*  
Шёл, где когда-то хозяином был.  
Щурился в небо — солнце на лето.  
Сев на завалинке, вынув газету,  
Долго смоктал заграничный столбец:  
В прошлом году не случилось, но в этом  
Будет Советам  
Конец.

Может быть, к лучшему умер отец  
В год восемнадцатый смертью случайной:  
С фронта вернувшийся офицер,  
Кончил бы он в *Чрезвычайной*.  
Наши метались из города в город,  
С юга на север, с места на место.  
Ставни и дверь заложив на запоры  
И оштитивши их знаменьем крестным,  
Ждали — ночами не спали — ареста.  
Дядя уже побывал под расстрелом,  
Тётя ходила его спасать;  
Сильная духом, слабая телом,  
Яркая речью, она умела  
Мальчику рассказать.  
В годы, когда десятивековая  
Летопись русских была изорвана,  
Тётя мне в ёмкое сердце вковала

Игоря-князя, Петра и Суворова.  
Лозунги, песни, салюты не меркли:  
«Красный Кантон!.. Всеобщая в Англии!» —  
Тётя водила тогда меня в церковь  
И толковала Евангелие.  
«В бой за всемирный Октябрь!» — в восторге  
Мы у костров пионерских кричали... —  
В землю зарыт офицерский Георгий  
Папин, и Анна с мечами.

Жарко-костровый, бледно-лампадный,  
Рос я запутанный, трудный, двуправдный.

СЕРЕБРЯНЫЕ ОРЕХИ

Мой милый город! Ты не знаменит  
Ни мятежом декабрьским, ни казнию стрелецкой.  
Твой камень царских усыпальниц не хранит  
И не хранит он урн вождей советских.  
    Не возвели в тебе дворцов чудесно величавых  
    По линиям торцовых мостовых,  
    Не внесены ни Столп Российской Славы,  
    Ни Место Лобное на площадях твоих.  
Не приючал ты орд чиновников столичных  
И пауком звезды не бух на картах,  
Не жёг раскольников, не буйствовал опричной,  
Не сокликал парламентов и партий.  
    Пока в Москве на дыбе рвали сухожилья,  
    Сгоняли в Петербург Империи служить, —  
    Здесь люди русские всего лишь только — жили,  
    Сюда бежали русские всего лишь только — жить.  
Здесь можно было жатвы ждать, посеяв,  
Здесь Петропавловских не складывали стен, —  
Зато теперь — ни Всадников, ни холода музеев,  
Ни золотом по мрамору иссеченных письмен.

    Стоял тогда, как и сейчас стоит.  
    На гребне долгого холма над Доном, —  
    То зноем лета нестерпимого облит,  
    То тёплым октябрём озолочённый.  
И всех, кто с юга подъезжал к нему,  
На двадцать вёрст встречал он с крутогорья  
В полнеба белым пламенем в ночную тьму,  
В закат — слепящих стёкол морем.  
    Дома уступами по склону к Дону сжало,  
    Стрела Садовой улицы легла на гребень;  
    Скользило солнце вдоль по ней, когда вставало,  
    И снова вдоль, когда спадало с неба.  
Тогда ещё звонили спозаранку,  
Плыл гул колоколов над зеленью бульваров,  
Бурел один собор над серой тушей банка,  
Белел другой собор над гомоном базара.  
    Звенели старомодные бельгийские трамваи,  
    В извозчиков лихих чадили лимузины,  
    Полотен козырьки от зноя прикрывали  
    Товаров ворохи в витринах магазинов.  
Как сазаны на стороне зарецкой,

Ростов забился, заблестал, едва лишь венул НЭП, —  
 Той прежней южной ярмаркой купецкой  
 На шерсть, на скот, на рыбу и на хлеб.  
     Фасады прежние и прежние жилеты,  
     Зонты, панамы, тросточки — и мнилось,  
     Что только Думы вывеску сменили на Советы,  
     А больше ничего не изменилось;  
 Что вновь простор для воли и для денег;  
 В порту то греческий, то итальянский флаг, —  
 Порт ликовал, как в полдень муравейник,  
 Плескались волны в Греки из Варяг.  
     Тогда ещё церковей не раздробляли в щебень,  
     И новый Герострат не строил театр-трактор,  
     И к пятерым проспектам, пересекшим гребень,  
     Названья новые не притирались как-то.  
 Дышали солнцем в парках кружева акаций,  
 Кусты сирени в скверах — свежестью дождей,  
 И всё никак не шло тем паркам называться  
 В честь краевых и окружных вождей.  
     Внизу покинув громыхающий вокзал,  
     Садовая к Почтовому вздымалась круто.  
     Ещё не став  
         «Индустриальных педагогов институтом»,  
     Уже не «Императорский», Универс'тет стоял.  
 Впримык к его последнему ребрёному столбу,  
 В коричневатой охре, на длину квартала,  
 В четыре этажа четыре зданья занимало  
         ПП ОГПУ.  
     Недвижный часовой. Из дуба двери входов.  
     Листами жести чёрной ворота обиты.  
     И если замедлялись на асфальте пешеходы,  
     То некто в кэпи их протрагивал: «Пройдите!»  
 А со времён торговли той бывалой  
 Складские шли под улицей подвалы.  
 Их окна-потолки выросли в асфальта ленту —  
 Толщ омутнённого стекла — и, попирая толщу ту,  
 Жил город странной, страшною легендой,  
 Что там, под улицей, — застенки ГПУ.  
     И по фасадам окна, добрых полтораэта.  
     Никто к ним изнутри не приближался никогда,  
     Никто не открывал их. Матово бесстрастны,  
     Светились окна тускло, как слюда.  
 Лишь раз, когда толпа привычная текла, —  
 Одно из верхних брызнуло со звоном, —  
 И головой вперёд, сквозь этот звон стекла  
 Безвестный человек швырнул себя с разгону.  
     С лицом, кровавым от удара,  
     Нырять в смерть дугой отлогой,  
     Он промелькнул над тротуаром  
     И разможился о дорогу.  
 Автобус завизжал, давя на тормоза.  
 Уставились толпы застылые глаза!  
 Толпу молчащую — локтями парни в кэпи,  
 Останки увернули, унесли бегом, —  
 Брандспойтом дворник смыл пятно крови нелепой  
 И след засыпал беленьким песком.  
  
     Я на день сколько раз мальчишкой юлким,  
     На этажи косясь, там мимо пробегал  
     И поворачивал Никольским переулком  
     В крутой и грязный каменный провал.  
 Промежду стен, домов, облупленных снаружи, —  
 Плитняк потресканный, бульжник, люки стоков:

В дожди и в таянье со всех холмов окружных  
Сюда стекались мутные потоки.  
Из глубины огромного квартала  
Сюда, на дно, где люков чёрная дыра,  
ОГПУ опять домами выступало  
И воротами заднего двора.  
Что день, под тихий говор, жалобы и плач,  
За часом час, кто в шляпках, кто в платках,  
Здесь ждали женщины с узлами передач,  
И с робким узелком и с сыном на руках.  
Я на день сколько раз притихшим мальчуганом  
Их обходил, идя к себе в тупик,  
Где в кучах мусора шёл ярый бой в айданы,  
Где «красных дьяволят» носился резвый крик.  
Громада кирпичца, полнеба застенив,  
Мальчишкам тупика загородила свет.  
С шести и до пятнадцати в её сырой тени  
Я прожил девять детских лет.  
Чего ж ещё хочу? Какое мне начало?  
Каких ещё корней ищу в моей судьбе?  
Я мальчик был — ЧК мне небо заслоняла,  
В солдата вырос я, — она — в НКГБ.

---

Мы жили с мамой в тупике,  
В дощатом низеньком домке,  
Где зимний ветер свиристел в утычках щельных.  
Мечась, ища — чего, не зная сам,  
Приехал дед однажды к нам  
В рождественский сочельник.  
Попил колодезной воды  
И пропостился до звезды.  
Мы в шумный дом в тот вечер собирались,  
Где в тридцать человек встречали Рождество,  
Но для него  
Втроём остались,  
Размётанной семьи  
Осколком.

Со взваром чаша. Блюдечки кутьи.  
В серебряных орехах крохотная ёлка.  
Дрожало несколько свечей в её ветвях.  
Лампада кроткая светилась пред иконой.  
В малютке-комнатке, неровно освещённой,  
Огромный дед сидел — в поддёвке, в сапогах,  
С багрово-сизым носом, бритый наголо,  
Меж нашей мелкой мебелью затиснут.  
Ему под семьдесят в ту пору подошло,  
Но он смотрел сурово и светло  
Из-под бровей навислых.  
Дед начал жизнь с чебанскою герльгой  
В Тавриде выжженной, среди тысячных отар,  
В степи учился сам, детей не вадил к книгам,  
Лишь дочь послал одну — лоск перенять у бар.  
Она выросла неприобретливого склада,  
И мне отца нашла не деньгами богата —  
Был Чехов им дороже Цареграда,  
Внушительней Империи — премьера МХАТа.  
Сникали долгие усы у старика, какие раньше  
Носили прадеды его и деды на Сечи.  
Светилась кожа мамина оранжево  
От ёлочной свечи.  
И тихо тёк покойный тёмный вечер.

Кивала мама мне, чтоб деду не перечил,  
А он, подавленный, неторопливый,  
С какой-то вещей скорбью говорил.  
Раскрыла Библию на повести об Иове  
Его рука в узлах набухших жил.  
...Сходились судьбы их, однако не совсем:  
Начавши с ничего и снова став ничем,  
Всё потеряв — детей, стада, именье, —  
Молил смиренья дед, но не было смиренья!  
Одиннадцатилетний, в утешенье  
я дедушке сказал:

«Ты — не жалея.  
Наследства б я из принципа не взял».

Ещё мы спали — дед поднялся, охая,  
И, половицами скрипя, ушёл в собор к заутрене.  
Ещё мы нежились в приятной тёплой судреми, —

И вздрогнули от грохота:  
Долбили в дверь ногою, как тараном.  
На локте мама вскинулась с дивана,  
К окну, к двери метнулась,  
Опять к окну,  
Немея повернулась:

«О Боже! Г П У !»

И двое их вошли в морозных клубках,  
Огромных, чудилось, широкоплечих, —  
В перепоясанных тулупах.

И дверь оставили распахнутой на стужу.  
И сбили ёлку локтем неуклюжим.

Отпали ставни. Из кровати строго  
Я в свете дня на старшего взглянул.  
Лицо его чернело, закалев от ветрожога,  
И круто выступали кости скул.

Будёновки засаленный шишак.

Петелька рваная. Чугунный подбородок.

«Гражданка Нержина? А гражданин Щербак —  
Отец ваш — где?.. Ушёл молиться? Вот как...»

Должно быть есть что волку старому замаливать —  
Поплёлся по такому холоду!

Ну, что ж, гражданочка, а вам пока — вываливать  
Золото».

— «Ка-кое?!» — «Жёлтое». — «Нет у меня». — «Но-но!»

— «Оно не нужно мне!» — «Так нам зато нужно!»

— «Ей Богу — нет...» — «Чего? Монет?»

Не обязательно. Шитьём от эполет.

Посудой можно, бриллиантами и слитками,

Идём навстречу, понимаем.

И если золотом мундирчик вытканый,

То — принимаем».

— «Как странно... Бриллианты и посуда...»

Прошло двенадцать лет. Откуда?

В голодный год на масло, на муку...»

— «Ку-ку!»

Я вам напомню: выдавлена проба

Такая — девяносто шесть.

Взломаем пол, диван распорем. Обыск?..

Я знаю — есть!»

— «Товарищ, верьте, я...» — «Я не товарищ вам!

Я, может быть, руки вам не подам!

Я — гражданин для вас, мадам!

И вам придётся ехать с нами, если...»

— «Мне?.. Как же я?.. А сын?!»

Он снял тулуп, уселся прочно в кресле:

«Но вам дороже — золото? Сын проживёт один».  
 Мать заметалась. Дрожью губ  
 Ловила воздух ли, молилась.  
 «Я не пойду! Я не могу!!»  
 И, пальцами хрустя, остановилась.  
 Упали шпильки — и рассыпались каштановые пряди  
 Её волос, причёсанных поспешно, —  
 Я видел только взгляд его, и в этом взгляде —  
 Усмешку.  
 Себя не помня, с потемневшими глазами  
 Я на кровати встал на помощь маме  
 И, весь дрожа, что мне в ответ  
 Над головой засвищет? —  
 «О чём ты просишь их? Сказала *нет* — и нет!  
 Пусть ищут!»  
 Но — улыбнулся старший. Я стоял.  
 Чуть до колен спускалась рубашонка...  
 Он подошёл и пробурчал:  
 «А? Выкормили тут волчонка...  
 Ну, расскажи, с кого берёшь пример?  
 Кричать ты, вижу, звонок».  
 — «А что грозитесь? Ордер есть? Я пионер,  
 А не волчонок».  
 — «Да... Цепкие растут они в советский век...  
 Читаешь что?» — Взял книгу. — «Лондон. Джек».  
 Я чувствовал, я знал, что с нами всё он мог.  
 Смущал меня в словах его задумчивый привет  
 И глаз жестоких размягчённый свет.  
 Мать успокоилась: «Не простудись, сынок.  
 Ищите. Нет».  
 Он сел писать. И, протянув ей лист,  
 Чернильницу придвинувши, сощурился чекист:  
 Не дрогнет ли её рука?  
 «Я... заверяю... золота ни грамма...  
 Во время обыска откроется... статья УК...»  
 Уже перо макнув, спросила мама:  
 «А обручальное кольцо?.. О муже память... Ничего?»  
 Но младший вырвался: «Хо-го!  
 Какого ж чёрта вы молчите?  
 Тащите, дамочка, тащите!»  
 Ни на кого не глядя, от стола  
 Мать тихими шагами отошла,  
 Спиной к обоим стала,  
 Из бисерной шкатулки потемневшее достала,  
 Упала головой,  
 Губами и щекой  
 Прижалась, —  
 Вернулась лебединым шагом,  
 Взяла бумагу,  
 Расписалась.  
 Чекист швырнул кольцо, как будто горячо,  
 С ладони на ладони мякоть,  
 Спустил в карман — и с чем-то там ещё  
 Оно столкнулось тихим звяком.

Как всякий раз от литургии,  
 Мой дедушка вернулся тих и светел.  
 Под притолкой нагнулся, где другие  
 Не нагибались, и... заметил.  
 Ни бровью не повёл. Спокойно стал под образ,  
 Прочёл молитву вслух, перекрестился истово,  
 Как будто и не видел он гостей недобрых  
 Иль не признал чекистов в них.

Поцеловал, поздравил мать  
 И подошёл меня поцеловать.  
 И лишь когда усами жёсткими к щеке моей приник,  
 Я ощутил, как изнутри  
 Дрожал старик.  
 Подручный тотчас пересел к двери.  
 А старший, о-локоть на стол,  
 На скатерть — пепел от махорки,  
 Не отрываясь, снизу, зорко  
 За дедом следом взглядом вёл.  
 Дед выпрямился, снял кожух,  
 Подбитый вытертой мерлушкой.  
 Поставить ногу негде было в комнатухе, —  
 Он всё не видел этих двух.  
 И усмехнулся старший: «Что ж вы нас не поздравляете?  
 Захар Фёдорович, а? На *Органы* ль вы злы?»  
 — «Шось я не чув,  
 шо вы Господни праздныки справляега.  
 То — видколы?»  
 — «Ну, расскажите, как пришёлся вам собор?  
 Заутреня? Как — хор?  
 Служил — архиерей?»  
 — «Вин...» — «Замечательно. И с клиром?  
 Его послушать вы и ехали из Армавира?..  
 Да что вы смотрите на нас, как на зверей?  
 Мы — к вам... У вас — большой багаж?  
 С собою? На вокзале малость?»  
 — «Який багаж? Хиба ж  
 У мэнэ шо осталось?»  
 — «Ограбили?» — «Дочіста».  
 — «В вагоне?!»  
 — «Ни. Та хай бы им сказиться — коммунисты.  
 Як був переворот. Шоб людэй грабыть,  
 Ума велького нэ трэба, мабуть».  
 — «Вот неприятность! Ай-ай-ай!..  
 Ну, что ж, погреемся. Хозяйка, ставь нам чай,  
 Да, может, рафина-адик недоко-олотый...»  
 И вспрыгнул тигром: «От-ве-чай!!!  
 Где — золото?!»  
 Отпрянул дед: «Якэ?  
 Шо вы?»  
 — «Собака! Пёс! Такого слова  
 Не знаешь в русском языке?  
 Где золото?» — «Якэ?» — «А то, что в бочке.  
 В бочоночке! В земле! В ларце!!!  
 Пятёрки николаевские! По мешочкам!  
 И то, что ты привёз до дочки...  
 Спиной, мадам... Вот подпись, ну!» — «О це?»  
 — «Да, це! Она призналась, где ты прячешь».  
 Сверкнув глазами, дед отвёл бумагу: «Як скаженный,  
 Шо прычипывся ты до мэнэ?  
 Я без очёк не бачу».  
 — «Надень очки». — «Мэни нэ трэба. Сами и смотришь.  
 Ось, в роте ё два зуба золотых — возмыть,  
 А золота я никола не ймав  
 И не ховав».  
 — «А что ж ты ймав?»  
 — «Земли две тыщи десятин. Худобу».  
 — «Две тысячи??» — «Булы за мэнэ бильш».  
 — «А золото?» — «У зимлю сиять? Хлеборобу  
 Який с ёго барыш?»  
 — «И что имел — куда ж ты дел?» — «Куды?  
 Та я ж кажу — забралы». — «Кто?!» — «Жиды».

— «Но столько лет ты чем живёшь? Каков твой труд?»  
— «А побираюсь я. Шо люды добрые дадут,  
Хто в мэнэ запрежь зароблялы гроши».  
— «И что ж, дают?» — «Дают. Хто хлиба, хто салыца».  
Чекист осклабился: — «Ка-ким ты был хорошим!  
За *ридного* отца?..»  
Вздыхнул старик: — «Нэ так, як вы, хозяйнував:  
Сам жив — и людям жить давав.  
А шоб уси равны булы —  
Того нэ будэ николы.  
Нэ будэ нас, так будут иньши,  
Ще, мабуть, гирши люды, злиши...»  
Чекист поднялся резко: «Ну,  
Там разберёмся, в ГПУ.  
Не из таких в подвалах выбивали блажь.  
Подумаешь — и зубы сдашь».

---

Но не нашли у деда золота. Отпущен был домой  
Развалиной оглохшей, с перешибленной спиной.  
Два года жил ещё. Похоронил жену.  
— «Пиду к *остроголовым* подыхать.  
Нэ прожинут!»  
Огонь глаза тускнеющие облил.  
«Воны мэнэ ограбылы, убылы, так нехай  
На гроши на мои хочь гроб мни зроблять».

Надел поверх рубахи деревянный крест,  
В дверь ГПУ вошёл — и навсегда исчез.

ТУ, КОГО ВСЕГО СИЛЬНЕЙ...

*Ту, кого всего сильней  
В мире любишь ты, — убей!*

Из романа 20-х годов

Теперь уж кажется преданьем  
Такой приветный щедрый дом —  
Нароспашь, искренно, ребром —  
Где рады близким, рады дальним,  
Где остро спорят вокруг стола,  
Где пьют-едят довесела,  
Где заливаются девчѐнки,  
Где за минуту комнатѐнку  
То в зал расчистят танцевальный,  
То разделят на десять спален,  
Старинный ветхий шкаф зеркальный  
Перенесут и повернут,  
Где книг расходных не ведут,  
И не считают ртов угайкой,  
Где дышит доброю хозяйкой  
Ненарушаемый уют.  
Всѐ было просто. Все — просто.  
Теперь не то. Теперь не так.  
И если где горит очаг, —  
То двери заперты.  
Всегда открытое радушьѐ!  
Тебя всё меньше в русской жизни.  
Твой дар усталостью иссушен  
И подозрительностью изгнан.  
Наш быт рассчитан и суров.  
Уж больше нет таких домов.

Немало лет прошло с тех пор.  
От взгорбка Среднего проспекта,  
Где взбросил в небо архитектор  
Теперь уж снесенный собор,  
Где в сквере, убранные в ленты,  
Детей возили чинно пони,  
Где спали львы на постаментах,  
А на колончатом балконе  
Встречали девушек студенты,  
Где Банк приземистый с фронтоном

Улёгся чудищем ампира, —  
Оттуда, в ряд домов втеснённый,  
Стоял их дом неподалёку,  
И в первом этаже квартира  
Во двор сияла светом окон,  
Звала субботами заманно,  
Внутри гостей кружился рой,  
Гудели струны фортепьяно,  
Пел мягкий голос молодой:  
*«Там, где Ганг струится в океан...  
Где по джунглям бродит дикий слон...»*  
Их дом всегда открыт был нам:  
Екатерина Николавна  
Дружила с мамой дружбой давней  
По гимназическим годам,  
А Миша, сын её, — ровесник  
Пришёлся мне, и складом в склад,  
И страстью к странствиям чудесным, —  
И я провёл у них полдетства,  
Как сын второй, как сына брат.  
Великий мир, подвластный нам!  
То, бабушкину шаль распялив,  
Мы вили в прериях вигвам;  
То клад в пещере под роялем  
Во тьме таинственной искали;  
То, через комнаты бегом,  
Хлеща собак, наперегон  
Мы занимали на Аляске  
Золотоносные участки.  
Метнувши мнимым томагавком,  
И сняв с врага привычно скальп,  
Мы громоздили в кухне лавки,  
Взбирались на вершины Альп.  
Под стол, к браминам, в храм Бомбея  
Нас вёл факир, знакомый наш.  
Из кубиков фрегаты склеив,  
Мы храбро шли на абордаж,  
Вели корабль по Ориноко  
Меж двух ковров полоской пола,  
Грузили пряности Востока  
На караваны Марко Поло.  
Мир старых книг едва надчерпан —  
Экранов первое мельканье! —  
И д'Артаньян, и Дуглас Фербенкс,  
И конквистадоры Испании!

Так вплоть до вечера, пока  
Со стен, столов и с потолка,  
Из абажуров разноцветных  
Не вспыхнут лампы — беззапретно  
Владели мы землёй ничейной,  
Резвясь по всем её углам.  
Но, затаясь благоговейно,  
В отцовский строгий кабинет  
Вступали, дерзостные. Там  
Из многих стран, за много лет  
На долгих полках по стенам,  
То плотно сдвинув корешки,  
То мелочь меж больших навалом —  
Теснились мудрых книг полки  
И стопы глянцевого журналов,  
Как крылья бабочек яркие.  
Отдельно в восемь этажей

Хранились кипы чертежей  
На кальке, на миллиметровой,  
Александрийской и слоновой,  
В альбомах, папках и рулонах.  
В углу остойчивой колонной,  
Как снег, едва голубоватый  
Отлив отбрасывая, — ватман;  
Дубовый стол на зверьих лапах,  
С крылом чертёжная доска,  
Особый свет, особый запах  
Журналов, туши, табака.

В шестом часу, портфель неся —  
Подарок слушателей, в носке  
Истёртый, пухлый донельзя,  
Олег Иваныч Федоровский  
С работы тихо шёл, устав.  
Его завидевши, стремглав  
Бросались мы встречать. Забросив  
За плечи шёлковые косы,  
Едва касаясь плит двора,  
Ирина, старшая сестра,  
Бежала. Брат бежал быстрее  
И не давал портфеля ей.  
Олег Иваныч с лет давнишних,  
Всю жизнь над книгами сидя  
И за фигурой не следя,  
Одно плечо держал повыше,  
Чуть горбился, был невысок, —  
Ему по грудь тянулся Миша,  
А дочь равнялась по висок.  
Искря глазами сквозь пенсне,  
Всех трёх обняв, спеша узнать  
О школе, о минувшем дне, —  
Он тут же нам давал решать  
Задачку хитрую в уме.

За круглым столиком в гостиной,  
Седая вся, с осанкой львиной,  
Старуха в семьдесят два года,  
Сухими пальцами в колоду  
Французских карт собрав атлас, —  
Опять не вышло в этот раз, —  
Кивала зятю от пасьянса.  
Держа гимназию, она  
В былое время мезальянса  
Боялась больше, чем огня.  
Эмансипация и курсы,  
Москва, Козихинский на Бронной...  
— Какой-то внук дьячка из бурсы...  
Ещё студент? — «Но одарённый!»  
— Белья — две пары... Не галантен.  
«Но, мама, слушай, он талантлив!»  
— «Как за столом локтями двигал,  
*Fi donc!*» — «Он милый, пригляди!»  
— «Наш предок в Бархатную Книгу  
Записан был!» И — не сошлись.  
И — врозь. Да где же было знать им,  
Какая выгрохнет пора?! —  
Ушли за море братья Кати,  
Восторженные юнкера.  
Все вихри русские сплеснулись,

Все судьбы щепками стремя! —  
Простила дочь... Они вернулись  
Уже с внучатами двумя.  
Был зять из той людской породы,  
Вся жизнь которой — знать и строить.  
Такие стояли в те годы,  
Да и когда они не стоят?  
Рефрижираторы. Тепло.  
Подземный газ. Турбокомпрессор.  
Один диплом, второй диплом.  
Конструктор. Инженер. Профессор.  
— Из Шахт звонят. — Ждут в Сулине.  
— Прочтите курс в Новочеркасске! —  
И лишь тогда сменён был гнев  
На снисходительную ласку.  
А зять, нимало не заносчив,  
Шутил, когда кругом свои,  
Что попадёт он с этой тещей  
Не в ВКП, так в РКИ.

С обеда шёл Олег Иваныч  
Вздremнуть: читая поздно, за ночь  
Никак не выспался он.  
Звонил бесстрастный телефон —  
«Тепло и Сила» — там совет,  
Из института. Если ж нет —  
Засвечивался кабинет.  
И целый вечер шли и шли,  
И свёртки ватмана несли  
Студентки робкие, студенты —  
Самодовольно дипломанты,  
С ленцой весёлой практиканты,  
Неслышным шагом ассистенты.  
В неповторимые те годы  
Два стиля, две несхожих моды,  
Два мира разных, два дыханья  
Столкнулись в жизни обновлённой,  
Их переплеск и колыханье  
Рождали ропот напряжённый,  
И этой недотканной ткани,  
Переплетённой пестроты,  
Тянулись всюду туго нити:  
— Товарищ Федоровский, ты..  
— Олег Иванович, простите...  
Кто властной поступью рабфака,  
В косоворотке, френче хаки,  
С ЛКСМовским значком:  
За что боролись? При своём  
Живём и учимся режиме! —  
Кто в остро-круглых длинных *джимми*,  
Носки открыты, в яркой клетке,  
Утиный козырь мягкой кепки:  
— Танцуем чарльстон! Для вас  
Не *Восемнадцатый* сейчас!  
И только девушки, подвластны  
Волнам парижских перемен,  
Все дружно были в том согласны,  
Что юбки носят до колен,  
Чтоб чуть на кнопочках держались,  
И чтоб колена обнажались! —  
И ложных пуговиц рядки  
Сверх скрытых кнопок нашивали  
(Их юбки лет тех остряки

«Мужчинам некогда» прозвали).  
Да сохранив отличья касты —  
Фуражки, ключ и молоточек,  
Тужурки с синью оторочек, —  
От старой власти к новой власти  
Из инженеров *совспецы* —  
Шли русской техники творцы.  
Так, дверь стеклянную зашторя,  
Всегда с дымком иссиза-бледным  
Меж указательным и средним,  
То консультируя, то споря,  
Шутя, сердясь, доступен всем,  
Он принимал.

А между тем...  
А между тем в углу гостиной,  
Отгорожённом у окна,  
У своего стола Ирина  
Сидела, к книгам склонена.  
Пищу — Ирина, помню — Ляля —  
Её в семье по-детски звали.  
«Стол» говорю, а помню — столик,  
Точёных ножек карий лак...  
На нём по прихотливой воле —  
Тетради, писанные в школе,  
И многозначный пустяк,  
Какой-то камешек с приморья  
И снопик ландышей в фарфоре,  
Фрагмент родэновской «Весны»,  
Мал меньше меньшего слоны.  
Вразброс над столиком висели  
Её же кисти акварели  
Неярких, вдумчивых тонов —  
Прочтённых книг, неясных снов  
И властной жизни отпечатки:  
То у окна в старинной зале  
Склонилась девушка, перчатку  
В раздумьи смутном теребя;  
То поезд в розовые дали  
Уходит, дымами клубя;  
Там — рвётся, сжавши боли крик,  
В костре фанатик-еретик;  
Тут — спад покойных мягких линий  
И будуара сумрак синий...  
Кто знает — как, когда, какую  
Неизъяснимую тропюю,  
Не зная разницы в годах,  
Сама себя стыдясь, крадётся  
Любовь в мальчишеских сердцах?  
То ей обнять меня придётся,  
А то послать за пустяком —  
Несусь с готовностью бегом  
И тёмным боем сердце бьётся.  
Ни слов ещё, ни тех понятий,  
А вот — духи... коснуться платья;  
Тайком, чтоб не видал никто,  
В томленьи радостном, незрелом,  
Прийти и сесть на место то,  
Где только что она сидела:  
Бином. Арксинус. Вектор поля.  
Ламарк. Бензольная основа.  
Оторванность «Народной Воли».  
«Реакционность Льва Толстого...»  
Давно ль мы трое на тахте,

Усевшись в дружной тесноте,  
Читали «Морица и Макса»? —  
Но вот — *надстройка*. Т — Д — Т\*.  
«О Фейербахе» — Карла Маркса...

Всё те же два, всё те же два  
И в ней столкнулись мира чуждых:  
Огняно-красные слова —  
Нюансы сумерек недужных.  
Из девушек тех кратких лет,  
Лет опшельмованного НЭПа,  
Двойной кумачно-лунный свет,  
Палящий без огня до пепла —  
В ком сердца слабого не сжёт,  
В кого не впрыснул жидкой стали,  
Зовя, толкая на прыжок,  
В котором головы ломали?  
Прибой трибун. Наплывы танго.  
Многоречивый лепет муз...  
Но свой жестокий табель рангов  
На мраморных ступенях в ВУЗ.  
Ранг первый — на руке мозоли,  
Второй — потомственный рабочий,  
Ранг третий — членство в комсомоле,  
Четвёртый — гниль, буржуй и прочий.  
Закон — мороз! да сердце зябко...  
Нельзя без мягкости на свете.  
И Лялю приняли («наш папка —  
На паровозном факультете»)  
Средь чертежей, средь новых лиц,  
Расчётов, допусков, таблиц,  
Сердечко девичье щемило,  
Но группа школьная друзей  
По вечерам собиралась к ней —  
И всё опять как прежде было:  
Движенье, хохот, шум при входе,  
«Из слов слова» и «бой морской»,  
Остап — «Телёнок золотой»,  
Жестокий спор о Мейерхольде,  
Журнал домашний сгоряча,  
Кроссворд, шарады, буриме ли,  
Там в лёгком цоканьи мяча  
Пинг-понг стремительный, Джемелли,  
Там рокот струн, напев свободный  
Без боли к слову песни модной:  
*«Ту, кого всего сильнеей  
В мире любишь ты, — убей!  
Ты мне так сказал,  
Ты мне приказал,  
Ма — га — ра — джа!»*

Джемелли! Александр! Саша! —  
Ему, герою школы нашей,  
Мы поклонялись, детвора,  
Ему дорогу уступали,  
Его манеры повторяли,  
Его с восторгом избирали  
В бюро, в учкомы, в сектора.  
Он итальянец был по деду,  
Но русский речью и в чертах.

---

\* Товар — Деньги — Товар.

Он знал счастливые победы  
В науке, в играх и в боях.  
Взглянув в учебник для порядка  
С едва небрежною повадкой  
Блестящего ученика,  
Он отвечал лениво-гладко,  
Играя камешком мелка.  
Лишь на истории одной,  
К ошибкам зорок, в спорах злой,  
Из головы своей богатой  
На память сыпал он цитаты,  
Изданья, мненья, имена,  
Подробности событий, даты  
И цифры плавок чугуна.  
Он цену знал себе. Держался  
Свободно, гибко тело нёс.  
Темнел, гневясь. Блеснув, смеялся.  
Высокий лоб его венчался  
Зачёсом взвихренных волос.  
На вечерах со школьной сцены  
Он в зал бросал: «Сергей Есенин» —  
И, замерев, следили мы  
Из напряжённой сизой тьмы  
За каждым брови шевеленьем,  
За каждым губ его движеньем,  
За звуком голоса его.  
Быть может — детство, но второго  
Я наслаждения такого  
Не получал ни от кого:  
Уйдя в себя, печален, тих,  
Без завываний, благородно,  
Легко, естественно, свободно  
Умел читать он русский стих.  
Заботой памяти не скован,  
Он жил строкой, единым словом,  
Как будто было самому  
Ещё неведомо ему —  
Что дальше? Будто бы рождались  
И лишь при нас в стихи слагались  
Переживания поэта.  
И вот он сам, Джемелли сам,  
Вожак мальчишеского света,  
Сюда ходил по вечерам,  
У Федоровских был как свой,  
Неистошимый, озорной,  
Шутник, актёр, душа веселья.  
Но не всегда. Вдруг — нет неделю;  
Вернётся — скован, насторожен,  
Какой-то сдержанною, скрытой  
Заботой внутренней встревожен,  
Из уголка сторонний зритель  
Забав досужей молодёжи.  
То вдруг в окошко стукнет Ляле —  
И не зайдёт — и с быстротой,  
Накинув шляпку и пальто,  
Она уйдёт с ним и гуляет  
Глубоко полночь. А то  
Она нас двух возьмёт за плечи:  
«Гостей не жду. Ко мне ни-ни!»  
Но он придёт, и целый вечер  
Они до ужина одни.

А в ужин, сколько их ни будь —

Один ли гость, гостей ли шайка, —  
Ни им столовую минуту,  
Ни им раскланяться с хозяйкой.  
От Ляли — молодёжь горохом,  
Плывут от тёщи те, кто в летах,  
И, настезь дверь, с весёлым вздохом  
Идёт отец из кабинета.  
Вершат одиннадцать ударов  
Часы стенные о-шесть граней —  
Шипит парок над самоваром  
И плещется вино в стакане.  
И — все за стол! И вольный смех,  
И говор воедино спаян,  
И кажется, что меньше всех  
Устал за сутки сам хозяин.  
Кто с кем и что за чем — известно,  
И смена блюд идёт проворно,  
И на столе тарелкам тесно,  
И вкрут стола душе просторно.  
Винцом и шуткою согретый,  
Так начинался вилок бег.  
Отец с собой из кабинета  
Не упустил позвать коллег.  
Приняв их запросто и мило,  
К столу хозяйка подводила  
Старинного любимца дома,  
Механика и астронома,  
Горяинова-Шаховского,  
Седой полнеющий старик,  
Учёный с титулом мирового,  
Владелец шапочек и мантий,  
Известный автор многих книг,  
Не потерял ещё таланта,  
Прикрывши грудь волной салфетки,  
Следить за вкусами соседки,  
Приправить анекдотом метким  
Рассказ о новом *культпоходе*,  
Прочесть из Блока мимоходом,  
Новейший высмеять романс  
(Джемелли: «Браво! Декаданс!»),  
Над Маяковским посмеяться  
(Задорно Ляля: «А Кузмин?»),  
И оживлённо среди мужчин  
Поговорить о Лиге Наций,  
О том, куда идёт страна,  
И о записках Шульгина.  
Среди гостей для полноты —  
Ещё всегда две-три четы  
Мужей и жён, да неизменный,  
Беспомощный, несовременный  
Чудак — учитель рисованья,  
Из тех, кто в коммунизм военный  
Искал разгадок мирозданья.  
Семьи не знавший, вечно холост,  
Успехи лёгкие отринув,  
Всю жизнь отдавший, чтоб на холст  
Нанести одну — одну картину! —  
Мучительно не находя  
Достойных красок сочетанья,  
Он сердцем всё не стыл, хотя  
Лишь неудачи и страданья  
В его скитаниях сплелись.  
За сорок лет, в очках и лыс,

То захоластных пошлых театров  
Излишне чуткий декоратор,  
То разрисовщик по фарфору,  
А то и вовсе не у дел,  
Он странно нравится умел  
Проникновенным разговором,  
Большим чутьём, вниманьем добрым,  
Уменьем видеть красоту  
И смело бросить яркий образ  
В души смятенной темноту.

В разгаре ужин был, но спать  
Нас с Мишей слали со середины.  
Удел жестокий! Там в гостиной,  
Ещё сойдутся танцевать,  
Олег Иваныч меж гостями  
Разыщет жертву — полной даме  
Платком глаза схватят вплотную,  
И все, как дети, врассыпную, —  
Бродить на ощупь в Опанаса,  
*Шарады* в лицах представлять  
И в *Папу Римского* играть.  
В расчётах тонких преферанса  
В углу, за ломберным столом,  
Сойдутся старшие кружком;  
И строки грустного ромansa  
Учитель живописи Лялин,  
Склонясь над зеркалом рояля,  
Споёт:  
*«Вам девятнадцать лет, у вас своя дорога,  
Вы можете смеяться и шутить!..  
А я старик седой, я пережил так много...»*  
И всё,  
И это тоже всё  
Оборвалось...

---

...Вечером как-то спешил я к их дому,  
Слякотью мартовской, поздней зимой, —  
Перед дверьми их стоял незнакомый  
Автомобиль легковой.  
Тускло желтелся в дожде-косохлёсте  
С визгом качаемый ветром фонарь —  
Дверь отворилась — и странные гости  
Вышли в ночную недобрую хмарь:  
В гладких пальто одинаковых двое,  
С поднятым чёрным воротником,  
И между ними — отец, расстроен,  
С беленьким узелком.  
Видя меня, — он не видел. И сердце  
Сжалось, предчувствуя бль.  
Вспыхнули фары — хлопнули дверцы —  
Брызгая, вырвался автомобиль...

В доме ещё дымилось жертвоприношение  
Каким-то злым, неведомым богам...  
Лежали в грудях книги после потрошения  
И оползнями рушились к ногам.  
Ковры комком. Столы и шкафы — настезь.  
Бельё, посуда и постели в кучи свалены.  
И — шкура на полу.  
Как будто этой вот ощеренною пастью

Медведь наготовал, сорвавшись со стены.  
Здесь сутки обыск шёл. А найден был лишь снимок  
И унесён трофеем он один:  
Съезд энергетиков; меж ними —  
И Федоровский, и... Рамзин\*.

Кто б знал тогда, что не удастся навести  
В квартире этой — раз разрушенный уют?  
Лиха беда — беде прийти,  
А пабедки добьют.  
Исчез, как канул зять. И тёща в тех же днях  
Была параличом разбита.  
Недели не прошло — и Миша на коньках  
Упал — ударился — сгорел от менингита.  
В их мрачный дом, потушен и стеснён,  
Я редко стал. Мне чудилось, что мать пытала немо:  
Ведь вот, ты жив. Ты — жив. Зачем же он?  
Зачем же он так рано взят на небо?  
Но заболела Ляля. И  
В день солнечный, скача через ручьи,  
В день, бурно лившийся водою талой,  
Я к ней пришёл. Она одна лежала,  
Худые руки белые за головой держала,  
Рукав халата повисал крылом бессильным птицы,  
Сползала книга с одеяла.  
И вздрогнула: «Серёженька! Иди сюда, мой рыцарь!  
Что долго не был ты? Я так тебя ждала.  
Ты так мне нужен, так сейчас мне нужен!  
Ну, расскажи — как школа? Я давно там не была...  
Погода как? Снег почернел? И лужи?..  
Шёл ночью дождь. Я ночью не спала,  
К окну вставала, слушала из темноты,  
Как трубы водосточные шумели...  
Скажи, дружок, а ты...  
Ты знаешь, где живёт Джемелли?»  
— «Да кто ж не знает?!» — «А не выдашь тайну?..  
Вот это вот письмо — мгновенно, моментально...»  
— «Конечно, Ляля, дай!» Порывисто привстав,  
За шею обняла меня ладонями в жару:  
«...Но если не пойдёт с тобой,  
не станет отвечать — добавь,  
Что я — умру!»  
Клонился день. Израненно тянулись облака.  
Багрец и хмурь мешались над холмом Темерника.  
Ручьи стихающие морщило холодным ветерком,  
И лужи подстывающие трогало ледком.  
Запыхавшись, взбежал я лестницей крутой,  
Взволнованным чутьём необычайное предвидя, —  
Джемелли встал передо мной  
Таким,  
Каким  
Я никогда его не видел:  
Открытый лоб морщинами раскрыт,  
Упрямым гневом сдвинутые брови,  
В запахах сорочки — матовость груди...  
«Сергей?! Входи!»  
Стремительно втащив меня через порог  
(А дверь на ключ! а дверь на цепь!), — по комнатам повлёк.  
«Тебе письмо!» — «Что с ней? Что с ней?»  
— «Она больна!» — «Сядь. На пол. Так. Молчи.  
А вот — моё. Моё письмо, Сергей,

---

\* Л.К. Рамзин — в 1930 был осуждён как «глава Промпартии».

От слова и до слова заучи».  
Я стал учить, не понимая сам,  
Какой же смысл разгорался по строкам,  
Ещё не уловив их гибельную связь.  
А он читал письмо, в окно косясь,  
Прислушиваясь к лестничным шагам.  
Шли к нам.  
И на площадке стихли.  
«Учи, учи!» — Ушёл. Стерёг там кто кого:  
Он — их ли?  
Иль они — его?  
Сжимая кулачёнками виски  
В тиски,  
Я одолел ещё с десятков строк.  
Ударил в тишину звонок.  
Потом как будто по железу процарапала отмычка.  
Вернулся крадучись. Зажёг, сломавши, спичку.  
Прошёлся в угол, умеряя шаг.  
«Ну — как?» —  
«Ещё». — «Учи-учи. От слова и до слова».  
Застыл, курия у косяка двери.  
Я вспрыгнул на ноги: «Готово!»  
Он сел спокойно: «Говори».  
Горячим шопотом, взхлёб,  
Я строку в строку повторил, —  
И только тут, смотря на бледный, потный лоб,  
Я понял, что я заучил.

П и с ь м о Д ж е м е л л и

«Друг и невеста! Что, кроме боли,  
Что, кроме зла,  
Близость со мною тебе принесла?  
Я был один у тебя, — ты у меня не одна:  
Ленинскому боевому подполью  
Вся моя жизнь отдана.  
Где я бываю,  
Что я скрываю,  
Что тяготит меня в нашей судьбе, —  
Легко ли  
Было мне лгать тебе?  
Страшно сейчас тебе будет, — страшнее  
Мог я тебя завести.  
Время такое неумолимое —  
Третьего нет пути!  
Если сумеешь,  
Любимая, —  
Прости!..  
Всё наше бывшее, всё наше прежнее  
Я сберегу с благодарною болью.  
Девушка милая! Девочка нежная!  
Мы не увидимся больше с тобою.  
Дом оцепили. Следят...  
Вижу в окно их — дежурят у лестницы.  
В прошлую ночь мой двоюродный брат,  
По телефону простясь, — повесился...  
Я б убежал, да бежать нам некуда!  
И не могу — ожиданьем прикован:  
Должен приехать ко мне человек один,  
Если не арестован.  
Пятеро суток мечусь в западне:  
Только бы ты не пришла ко мне!  
Пятеро суток бьюсь, как больной:

— Ты не приходишь! Что с тобой?  
Выйду на улицу, брошусь путлять  
И, зачумлённый, глазами ловлю:  
Некого! Некого мне послать  
К той, кого люблю.  
Только скрывайся! Только молчи!  
Только себя сбереги от лап их! —  
Знают, что делают, палачи  
Сталинского Гестапо!  
Ты доживёшь — это всё переменится!  
Снова придут революцией оздоровлённые дни.  
Люди узнают, что подлинно ленинцы  
Были — мы — одни.  
Партию нашу трудно обманывать,  
Класс-пролетарий подымется!  
Нас растоптать не сумели Романовы, —  
Где же *ему*, проходимцу?  
Вера в победу тверда моя:  
В этом ли, в том ли году, —  
Мы воротимся, но я... но я...  
Кажется мне — не приду.  
Первые годы минуют, клубя,  
Первого горя уляжется пыль, —  
Кто-то придёт и полюбит тебя  
Лучше, чем я любил...  
Будь же свободною, дорогая!  
Ты молода. Цвети. Живи.  
Этим письмом я с тебя слагаю  
Тяжесть нескладной моей любви...»

Два раза нас перерывали стуком.  
Надолго залился звонок.  
Джемелли по-мужски пожал мне руку,  
К письму оранжевый подставил огонёк.  
В темневшей комнате письмо вздохнуло, заалело  
И, в чёрный шорох съёжившись, сгорело.  
«Не трусь, малыш! Они боятся сами шума.  
Им по ночам, да кроликов выхватывать покорных.  
Теперь беги, беги проворно  
И ни о чём другом не думай!  
Задержат — твёрдо отвечай, руби, чтоб верили:  
Ты приходил просить — держи —  
ракетку для пинг-понга.  
А задержался? Марки выбирал: вот эти — Конго  
И Золотого Берега.  
Но — не задержат».  
Он на цыпочках провёл меня сквозь кухню  
И, в паутине, пыльное оконце распахнул.  
Жестоко красная на западе заря уже потухла,  
И вечер тёмной сыростью в лицо пахнул.  
«Сарайчик видишь? Я спущу тебя на крышу.  
Через забор — во двор — а он сквозной — и вышел.  
Иди не сразу — сразу не иди.  
На мелочи. Трамваями следы свои запутай.  
Вскочил — проехал две минуты —  
Сходи.  
...И скажешь Ляленьке: фамилии моей она не знает,  
И где встречались мы — не помнит этих мест.  
Что легче б — умер я! Что ГПУ живых не отпускает  
И не прощает верности невест».

\* \* \*

Что дважды два так часто — не четыре,  
Не знал я. Оттого был свят и нетерпим.  
Узнал — и хорошо и смутно мне в подлунном мире,  
И по-сердечному мне просто стало с ним.  
Не привелось спираль наук исполнить.  
От философии, от споров я поник устало, —  
Искусства искорка осколком русских молний  
    Ко мне на камень сердца пала.  
Ка-кая ло-ги-ка?! Моих родных в застенках  
    Терзали, — я — я рвался умереть  
        За слов их медь  
От доброты чрезмерной чрезмерно злых!  
Цветов немного есть, но много есть оттенков,  
    И полюбился мне тогда один из них.  
В те годы красный цвет дробился радугой,  
И, жаром переливчатых полос его обваренный,  
    Я недоумевал речам Смирнова, Радека,  
Стонал перед загадочным молчанием Бухарина.  
Я понимал, я чувствовал, что что-то здесь не то,  
    Что правды ни следа  
    В судебных строках нет, —  
    И я метался: что? —  
        Когда?  
Сломило Революции хребет?  
Делил их камер немоту — и наконец  
В затылок свой я принял их свинец.

А годы шли. Цвета бежали за цветами,  
Бесшумно выскользнув, из красного ушла его душа —  
    И беззастенчиво взнесли над площадями  
    Всё то, над чем глумились, потроша.  
Сегодня марши слушаю по радио — шагают  
Лейб-гвардии Преображенский и Измайловский полки!! —  
    Что я? Где я? Мне уши изменяют?  
    Их марши бывшие играют —  
        Бывшие большевики...  
Шли годы. Воздвигались монументы,  
Вшивалось золото в чиновничьи мундиры позументом,  
Ораторы коснели, запинаясь по шпаргалкам,  
    И на трибуны под унылые аплодисменты  
    *Вожди* являлись жирною развалкой.  
И сверх могил, нарыхленных как грядок,  
Парил немислимый, неслыханный *порядок*.

Я помню зал Ленмастерских. Собрание рабочих,  
Какие в годы те до изнуренья длились.  
В однообразных прениях часами ночи  
Часы вечерние давно сменились.

Молчали, хлопали, вставали в нужный миг.  
 Всё было, как заведено. Всё было, как везде.  
 И вдруг на сцену поднялся старик,  
 Очки, обмотанные ниточкой, воздев.  
 Он был — как старых пролетариев рисуют на плакатах,  
 Годов десятих неприлично ожившая быть.  
 В глубинах лица его осела черновато  
 Металла и металла спиленная пыль.  
 Никто не доглядел, когда просил он слова,  
 И не приметили, как был он неположено взволнован,  
 Когда, уставясь отрешённо в зал,  
 Глубоким голосом сказал,  
 Как в жизни говорят не в каждой  
 И говорят — однажды:  
 «Вот она — звёздочка — в сердце моём,  
 Зажжённая — Владимиром — Ильичом  
 В Тысяча — Девятьсот — Пятом!..»  
 Устало морщились: оратор!  
 Сейчас международных дел коснётся,  
 Гляди, за час до сути доберётся.  
 А он, вцепясь в трибуны аналой,  
 Гремел перед толпой,  
 Раздвинув междубровье:  
 «Зря  
 — баррикады  
 — строили  
 — встарь?  
 Зря, значит,  
 — мы  
 — умирали?  
 К ТРОНУ  
 — бредёт  
 — по рабочей  
 — крови  
 ЦАРЬ!  
 СТАЛИН!!!»  
 Партер откинулся, нагнулся бельэтаж,  
 И сладкий ужас оковал  
 Оцепеневший зал,  
 И слышно было, как упал  
 Стенографистки карандаш, —  
 Слова как кони понесли упряжкой взбешенной,  
 Дробя по лбам, по головам, по памяти, по лжи, —  
 И кто-то крикнул одиноко: «Он — помешанный!»  
 И кто-то закричал испуганно: «Держи!»  
 На сцене топот,  
 В первом ряде шум, —  
 А он разил, разил их словом протопопа,  
 Бессмертный Аввакум!  
 Ему заткнули рот, уволокли за сцену,  
 Ещё донёсся хрип из-за кулис,  
 Забегали посланцы вверх и вниз, —  
 А зал,  
 Огромный зал —  
 Молчал...  
 И на трибуну, на замену,  
 Не сразу вышел кто-то полный.  
 Как верноподданного гнева сдерживая волны,  
 Застыл с рукою вскинутой:  
 «Товарищи! Спокойно. Меры принять».

## БÉСЕДЬ

*...восстановить каторгу  
и смертную казнь через повешение.*  
(Из Указа Президиума Верховного Совета,  
апрель 1943.)

Я там нé жил. Я не там родился.  
И уже не побываю там.  
А ведь вот как сердцем природнился  
К этим недобычливым местам...  
Топь. Да лес. Пшеница не возъмётся.  
Нет бахчей. Сады родят не буйно.  
По песку к холодному болотцу  
Только рожь да *бульба*.  
На пригорках — серые не машущие *млыны*.  
На толоках — жёлтые без запаха цветы.  
Церкви обезглавленные... Срубы изб унылых...  
Гати хлипкие... Изгнившие мосты...  
Турск, Чечерск, Мадоры и Святое...  
Жлобин... Рогачёв...  
Что-то я оставил там такое,  
Что уж больше не вернётся нипочём...  
Вечно быть готовым в путь далёкий,  
Заставлять служить и самому служить, —  
Снова мне таким бездумно лёгким  
Никогда не быть.  
Отступаем — мрачен, наступаем — весел,  
Воевал да спирт тянул из фляги.  
Ола. Вишеньки. Шипарня. Бёсесь.  
Свержень. Заболотье. Рудня-Шляги.  
Страх, и смех, и смерть солдатская простая...  
Днепр и Сож. Березина и Друть.  
Что-то я такое там оставил, —  
Не вернуть...

Доходя до быстрой мути Сожа,  
В прутняке, в осиновых лесках,  
Осенью холодной и погожей  
Медленная Беседь стынет в берегах  
Озерком без ряби и без стржня.  
Изжелта-багряный прибережник  
Ветви вопреки переклоняет...  
В тихую погоду

Слышно, как на воду  
Дерево листы свои роняет...  
Хорошо сюда прокрасться в тишине,  
Белку высмотреть, услышать мыши шорох, —  
Хорошо сюда вомчатся на коне,  
В хлёт ветвей, копытом в жёлтый ворох,  
Выпугнуть ушкана-зайченёнка —  
«Э-ге-ге!» — кричать ему вдогонку.  
Мы ж врубались в эту дремлющую глушь  
Шальными размахами армейских топоров,  
Со змеиным стрепетом *катюш*,  
В перегуле пушек, под моторный рёв.  
От Десны рванувши вёрст на двести.  
Мы за Сожем с ходу заняли плацдарм  
И, пройдя, покинули деревню Беседь  
Штабам, журналистам, комиссарам.

Тяжек был плацдарм Юрковичи-Шерстин.  
Много мы оставили голов  
У его поваленных осин,  
У его разваленных домов.  
Жилку тонкую единственного моста  
Мины рвали...  
Что ни день — в атаку подымались ростом —  
И в сырые норы уползали.  
Тёмной ночью осени, отрезанных от армии,  
Били нас, толкали нас в чёрную реку —  
*Бой по расширению плацдарма!*  
Кто поймёт твой ужас и твою тоску?  
Вся в воронках мёртвая, открытая земля...  
Всё изрыто, всё, что можно рыть, —  
Ни бревёнышка, ни локтя горбыля  
Над собой окопчик перекрыть.  
День и ночь долбят, долбят, долбят  
В тесноту людскую,  
И не ляжет ни один снаряд  
Впустую...  
В рыжей глине пепельные лица,  
Штык копнёшь — она уже мокра, —  
Деться некуда! Убогий клоч землицы,  
Километра два на полтора.  
Нас и нас клюют из самолётов,  
Нас и нас секут из миномётов,  
*Шестиствольным* прошипеть, прорывкать *скрипунам* —  
Жмись к земле! И эти все — по нам!..  
День и ночь сапёры мост латают,  
И в воде связисты ловят провода, —  
Немцы сыпят, сыпят на мост — и сливает  
С моста розовенькая вода...  
Связь наладят — и с Большой Земли  
Сыпят, сыпят в Бога, в крест и в веру:  
— Залегли,  
Такую вашу мать?  
До последнего бойца и офицера  
НА — СТУ — ПАТЬ!!!

---

Как-то раз в щели, на вымокшей соложке,  
Дудку стебелька бессмысленно жуя,  
Опрокинулся, не знаю — я? не я?..  
Я не слышал — били тихо? громко?  
Плохо видел — что? темно? светло?

Вся душа — одно дупло,  
И направить — ничего не мог.  
Я отерп, не помнил я ни прежних лет, ни дома,  
Только вот жевал, жевал трубчатый стебелёк  
Соломы,  
И дремá душила как стена.  
В щель — боец, с земли переклонённый:  
«Где комбат?.. Товарищ старший лейтенант!  
Вызывают! В штаб дивизиона!»  
Штаб? Какой там штаб?.. Ах, штаб!.. Да будь ты трижды!  
Где-то живы люди? Пусть живут, но лишь бы  
Нас не трогали. Да драть их в лоб с комдивом —  
Это вылезать и ехать под обстрел?  
Мост-то как? Неуж' на диво  
Цел?  
Ха, гляди! *Культурно рус воюет!*  
Год назад не встретить бы такую  
Распорядливую переправу:  
Вскачь коней! Шофёры — газ! Не кучась,  
С правого — на левый, с левого — на правый, —  
Есть ещё солдаты на Руси!  
Ветерком на левый берег, в кручу —  
Выноси!  
И теперь уж рад, что я хоть нá час вызван  
Из проклятых мест, из чёрной ямы той,  
Глубоко вдыхая воздух жизни,  
Медленно я ехал просекой лесной.  
Лес бурлил. Здесь двигались открыто.  
На пору худую блиндажи покрыты  
Были в два, и в три, и даже в шесть накатов.  
Как всегда, шофёры первыми нагтели —  
Заведя машины мелко в апарели,  
Под осколки выставили скаты.  
ПМП\*, конюшни, склады — не ступить!  
Лес редя, стволы пилили и валили,  
Тракторами к котлованам их тащили,  
И дымили кухни, и топить  
Собирались баньку полевую,  
Батарея пушек занимала огневую,  
Батарея гаубиц с поляны надрывалась,  
Раздавали водку радостной толпе, —  
И в войну играло, и скрывалось  
Только генеральское НП\*\*.  
Как это устроено! — приди сюда из тыла —  
Здесь передовая  
И куда какая! —  
Жить тебе не мило,  
Свет тебе не мил, —  
А приди сюда с передовой  
— Тыл  
Какой!..

---

Бесесть — вся в сугробах серого песка.  
Люди, лошади, машины — ни свободного домка.  
Мастерские, рации — бомбёжкой не сдунь их! —  
Всё забито в банях, всё забито в клунях.  
Улицей мелькали в беленьких халатах  
Девушки из медсанбата:

\* Передовой медицинский пункт.

\*\* Наблюдательный пункт.

Редко — скромная (солдатской истой доли  
 Волею? неволею? отведать привелось),  
 Больше — дерзкие, балованные в холе,  
 Набекрень кубанки на копне волос.  
 Из-за Сожа доносился бой,  
 Утомлённо били батареи.  
 Кроткое, неяркое, низко над землёй  
 Плыло солнце осени, не грея.  
 В штабе — занавески накрахмалены.  
 Бьют часы. Простелены дорожки из полсти.  
 На стене — плакаты: два — со Сталиным,  
 «Папа! Убей немца!», «Не забудем — не простим!»  
 Писари выкрикивали чётко.  
 Буркнули при входе: «Здравия желаем».  
 — «Как, орлы?» — «Да плохо». — «Что же?» — «Самоходка.  
 Что ни ночь — *кидает*. Отдыху не знаем».  
 ...Как положено, комдив меня ругал:  
 — «Вот что... это... я тебя... не вызывал...  
 Думал — опытный... сумеешь... это... возлагал...  
 Ночью был налёт! по корпусу!! по штабу!!!  
 Кто стрелял?? Не знаешь? Ну, сбреши хотя бы...  
 Мне вот надо к ним, а спросят цели?.. не могу...  
 Вы — мышей не ловите на правом берегу!  
 Что-то я не вижу *огневой культуры*.  
 Можете итти!» Я — в дверь. Из двери — замполит:  
 — «Обер-лётанант! Здоров! Ты почему не брит?  
 Вот тебе газеты, вот тебе брошюры, —  
 Разъяснить, раздать. Провёл политбеседу —  
 “Смерть за смерть и кровь за кровь”?  
 На вот, переделай вновь  
 И верни, чтоб завтра же к обеду —  
 На бойцов доклады наградные:  
 Коротки одни, растянуты иные.  
 Подвиг Рыбакова как-то слишком выпячен,  
 Подвиг Иванова по стандарту выпечен».  
 Я шагнул — и помпохоз тут: «Подтверждайте ж факты!  
 Если потонуло трое карабинов —  
 Дайте акты!  
 А с бензином?  
 Против нормы пятерной перерасход?!  
 Дайте оправдательный отчёт!  
 Эй, Москва слезам не верит! Что, велик оклад?  
 Вычтем, вот в двенадцать с половиной крат!»  
 За рукав — парторг: «Ну, как там ваш народ?  
 Заявления о *приёме* подаёт?  
 Твоего — не видно.  
 Покажи пример.  
 Стыдно! —  
 Офицер!»  
 Помначштаба: «На-ка вот армейские приказы.  
 Очень важные, знакомься, не спеши».  
 Тут начхим: «А как у вас противогазы?»  
 Тут и врач: «А баня как? А вши?»  
 Я — вслужился, знаю доблесть воина:  
 Козыряю — слушаю — не слышу.  
 Всё равно я сделаю по-своему,  
 А они по-своему опишут.  
 День не первый в армии, с порядками знаком.  
 Прикажите на небо — прищёлкну каблуком:  
 — «Разрешите ехать?» Но начальник штаба:  
 — «Оставайся ночевать. Торопишься — куда?  
 В волосах — соломка... У тебя там — баба  
 На плацдарме, да?»

Руку на плечо мне положив с приязнью:  
— «Нержин! Ты когда-нибудь на настоящей казни  
Был?..»

---

Там, где улица села кончалась  
И кустился ельник, там, у свежего столба,  
В уброд по песку глубокому сбиралась  
Зрителей толпа:  
Подполковники, майоры, лейтенанты,  
Девушки-ефрейторы, мальчишки-сержанты,  
Смершевцы, врачи, политотдельцы,  
Бабы здешние в платочках, мимоезжие гвардейцы.  
Место лобное — нехитро, без затей.  
Всё готово:  
В бурых полосах, едва обтёсан, столб сосновый,  
На столбе наставка, крюк на ней.  
Ровно в пять дорогою из тыла  
Подкатил по гати лёгкий «виллис».  
Два полковника в машине было.  
На средину вышли и остановились.  
С узкими погонами юристов были оба —  
Низенький еврей и русский, крутолобый.  
Пистолетным ремешком играя,  
Маленький визгливо крикнул: «Приведите!»  
Вышли двое автоматчиков из свиты  
И с заносом распахнули полотно сарая.  
Вывели. Одет в гражданское, кой-как.  
Полусонный. И соломка в волосах взлохмаченных.  
Руки за спину связали. Смотрит озадаченно.  
— Он не немец? — шепчут. Нет. Русак.  
На толпу уставился. Меж автоматами хромая,  
Подошёл спокойным вялым шагом.  
— Не читали приговор... — Не знает!.. — Он *не знает!*..  
Маленький полковник развернул бумагу,  
Переправил матовую портупею  
Щегольской планшетки.  
Старшина с широкой красной шеей  
Вынес и под столб поставил табуретку.  
Неестественно, с руками за спиной,  
Опустивши голову, глаза потупя,  
Подсудимый стал, как тот актёр плохой,  
Чтоб с галёрки видели, что он преступник.  
Рваные портки. Ошмыганная блуза.  
Слышал он? не слышал? как судья картавил:  
«Именем Советского Союза...  
Трибунал... дивизии... в составе...»  
Не могли найти чтеца другого!  
Торопливо выплюнет два слова,  
За губой другие два оставит:  
— «Родине... изменник... Николаев...  
Будучи... немецких оккупантов...»  
Напряжённо сгрудились, внимая,  
Бабы робкие, лихие лейтенанты.  
Рыжий столб лучом последним золотя,  
Заходило солнце жёлтое за Сожем,  
В трёх верстах, за лесом, в грохоте и дрожи,  
В очередь пикируя, бомбили, залетя,  
Переправу «юнkersь» одномоторные.  
Выше их, над ними, лёгкие, проворные,  
«Яки» с «мессершмидтами»  
Дрались,

И в дыму и в пламени валились вниз  
 Самолёты сбитые.  
 С переправы в «юнкерсов» зенитки  
 Густо и неметко хлопали.  
 Белые разрывы вспыхивали хлопьями.  
 ...Эх, сейчас сапёры, вымокнув до нитки,  
 Брёвна уплывающие ловят, чем придётся.  
 И никто, никто туда не обернётся!  
 «По апрельскому указу... по статье... казнить...»  
 И не вскинут глаз, как подошла в зенит  
 Сквозь закатно-солнечную невидь,  
 Замерла над головами прямо  
 «Фокке-вульф сто восемьдесят девять» —  
*Рама.*  
 Нет, гвардейцы видят. Вот её заметил  
 Из штабных один. За ним другой и третий,  
 Бросив слушать, головою запрокинулся,  
 Вот ещё, ещё — и вся толпа.  
 Кто-то от середины в сторону подвинулся,  
 Кто-то прочь шарахнулся слгупа.  
 Приговор умолк. С надеждой напряжённой  
 Поднял голову на смерть приговорённый,  
 Приглашая судей вместе умереть.  
 Ей, разведчику дотошному, сквозь трубы  
 Наше стадо до песчинки рассмотреть —  
 Много ли труда?!  
 Ну бы  
 Бомбочку сюда?!  
 И была, была одна минута:  
 Кто умрёт — качалось на весах,  
 Будто бы решалось не людьми, не тут, а —  
 В небесах.  
 Но — была ль она без бомбового груза  
 Или бомбы на другое берегла, —  
 Оставляя в силе «именем Союза»,  
*Рама* дрогнула — и уплыла.  
 Все вздохнули. Застонал негромко  
 Подсудимый, опуская взор,  
 И полковник чёрный кое-как докомкал  
 Приговор.  
 Крутолобый раскатил поперёк голов: «Понятно?!»  
 Грохот переправы... Тишина...  
 И тотчас же, очень аккуратно,  
 Приступил к работе старшина.  
 Ни движенья лишнего. На всё — ухватка:  
 В спину — толк! — к столбу направил, не грубя,  
 Там его поставил около себя,  
 Первый взлез и снасть проверил для порядка.  
 Крюк найдя добротным и хорошей —  
 Толстую верёвку,  
 Человека, не натужась, взвошил,  
 В петлю головой просунул ловко,  
 Петлю сузил, оглядел кругом —  
 Не легла ли ниже или выше, —  
 Спрыгнул — и мгновенно сапогом  
 Табуретку вышиб.  
 А повешенный, до смерти домолчав,  
 Застонал теперь, задёргался, хрипя.  
 Может, думал он, что он — кричал?  
 Может, помощи искал вокруг себя,  
 Когда стал он медленно кружиться,  
 Поворот за поворотом обходя, —  
 Словно бы искал он дружеские лица

И отвёртывался, не найдя.  
За спиной его сгибались,  
Разгибались  
Десять пальцев — каждый по себе! —  
Словно он считал свои мученья,  
Словно пересчитывал мгновенья,  
Прожитые на столбе.  
Заслудило незакрытые глаза его,  
Рот застыл, как корчился, дрожа, —  
И не стало больше Николаева,  
А остались два спинных тяжа:  
Правый, левый — каждый сам собой,  
То плечо подкинет, то тряхнёт ногой —  
Как на ниточках невидимых Петрушка,  
Как под током мёртвая лягушка  
Танец небывалый, танец дикий  
Выплясал и — весь...

— «Что с тобою, Нержин, погоди-ка!..  
Ночевать останься!» — «Ехать надо. Шесть».  
Утопая вязко по песчаной толче,  
Расходились люди. Расходились молча.

Ночевать? Нескоро тут привыкнешь.  
Легче ехать в ад плацдарменной ночи.  
Николаев! Почему не крикнешь?!?  
Почему — молчишь?..

В день, когда узнал я вас по имени,  
Бытию и плоти вашей я не придал веры.  
Это было в мае. Из болот, от Ильменя,  
Мы пришли к Орлу, на солнечную Неручь.  
Ни зерна ржаного. Ни плода. Ни огородины.  
Край тургеневский, заброшенный и дикий...  
Вот когда я понял слово *Родина* —  
Над крестьянским хлебцем, спеченным из вики, —  
Горьким, серым, твёрдым, как булыга,  
В мелких чёрных блёстках, как угля кристаллах...  
Сморщенная бабушка невсхожею ковригой  
Нас, солдат голодных, угощала.  
Были мы обстреляны и на пустое слово — кремни,  
Но, выдав под Руссой только ржавую болотистую мредь,  
Мы сошлись на том, что здесь, за эту землю,  
Как-то и не жалко умереть.  
То весенним дождиком омыта,  
То теплом безудержным облита,  
Необсеяна, — травинками тянулась к благодати,  
Кольхая радостную боль в солдате.  
Перекрестки, церкви, избоньки косые  
Оспины войны носили.  
На горе алели на закате  
Камни неживого Новосия.  
По овражкам — мирные ручьи.  
В сочных роцах — соловьи!..  
В полдень — пчёл жужжание. Степных цветов головки.  
По колено — шелестящая духмяная трава.  
И в стеблях её запутались листовки  
О какой-то армии РОА,  
О Смоленском Русском Комитете,  
Имена неизвестные, Власов на портрете.  
Не скрестясь в бою, — в листках, дождями съёженных,  
Нам *сдаваться* предлагали нагло.  
Так это казалось мертворожденно!  
Так это немецким духом пахло!  
И написано — чужой рукой, без боли,  
Русскими? Не верилось никак.  
И рассеивал-то их по полю  
Равнодушный враг.  
Но — пришлось поверить. Наши одноземцы  
В униформе вражеской держали оборону  
Намертво! дрались отчаянней, чем немцы! —  
Для кого? — несчастные! — для чьей короны?..  
Легче немцам было к нам попасть, чем русским.  
Наши ваших, ой, не жаловали в плен!  
...Помню дымный жаркий полдень под Бобруйском,  
Взрывы складов и пожарниц тлен.  
Закипающее торжество *котла!*  
На дыбках и вперевёрть немецкие машины.  
По шоссе катилась, ехала и шла  
Наша победившая лавина.  
Хруст *крестов железных* под ногами,  
Треск противогозов под колёсами,  
Туши восьмитонков под мостами,  
Цельные пушки под откосами,  
Битюги, потерянно бродящие стадами,  
«Фердинандов» обожжённых розовый металл,  
Из штабных автобусов сверкание зеркал,  
Фотоаппараты, рации и лампы,  
Пламя по асфальту от разбитых ампул,

Ящиками порох, бочками бензин,  
 Шпроты вод норвежских и бенедиктин,  
 А навстречу, без охраны, бесконечной вереницей  
 Тысячами шли усталые враги,  
 У переднего записка: «Посылаю фрицев.  
 Кто там будет ближе — в плен им помощи».  
 Обессилевши, ложились у дороги и вставали,  
 И, поддерживая раненых, опять брели.  
 Их не трогали. Из них шофёров выкликали  
 И сажали за трофейные рули.  
 Но когда под иззелена-серым  
 Дознавались братца-землячка, —  
 Прыгали, соскучась,  
 Окружали, скучась,  
 Матерились, били  
 Или,  
 Взглядом допросясь у офицера  
 Дозволяюще-небрежного кивка,  
 Отведя в сторонку, там решали участь  
 Облачком дымка.  
 Робкой группкой, помню, шло вас до десятка,  
 Я катил своих машин шестёркой,  
 Спрыгнул на ходу и, развевая плащ-палаткой,  
 Опустился перед вами с горки.  
 Руки на-грудь, замер изваяньем:  
 «Русские? — «Так точно». — «Власовцы?» — Молчанье.  
 Вдруг поняв, что я принёс не злое,  
 Сдвинулись ко мне с доверчивым теплом,  
 Словно лоб мой не таврэн эмалевой звездой,  
 Ваша грудь — серебряным орлом.  
 Оглядысь — не слушает услужливое ухо? —  
 Я не больно вольно княжествую сам, —  
 Гневно, повелительно и глухо  
 Я сказал, преклоняясь к вам:  
 «Ну, куда, куда вы, остолопы?  
 И зачем же — из Европы?!  
 Да мундиры сбросили хотя бы!  
 Рас-сыпайсь по деревням! Лепись по бабам!..»  
 Онемели. Почесали в затылях.  
 Потоптались. Скрылись в зеленях.  
 И хотел бы верить, что с моей руки  
 Кто-нибудь да вышел в приймаки.  
 На шоссе взбежав, я сел, поехал дальше.  
 Солнце било мне в стекло кабины.  
 Потаённые я открывал в себе глубины,  
 О которых не догадывался раньше.

...Вашей жизни, ваших мыслей след  
 Я искал в берлинских передачах  
 И страницы власовских газет  
 Перелистывая наудачу —  
 Подымал на поле боя и искал чего-то,  
 Что за фронтом и за далью скрылось от меня.  
 И — бросал. Бездарная работа,  
 Шиворот-навыворот советская стряпня:  
 То артист заезжий выступал паяцем,  
 Тужились смешить поэмкой «Марксиада»  
 Со страниц листка, —  
 Но от этого всего хотелось не смеяться:  
 Душу опустелую рвала досада  
 И тоска.  
 Зренья одноцветного, мертвённости руки  
 Я узнал разгадку много позже:

Всё это писали, оскормаясь, те же, тоже  
 Школы сталинской политруки.  
 Утолить мою раздвоенность и жажду  
 Мог бы кто-то, на тропу мою война его закинь,  
 Но — не шёл. Лишь подразнить однажды  
 С власовцем таким свела меня латынь.  
 Хоть *латынь из моды вышла ныне*  
 (Да была ль ей мода в вотчине монголов?) —  
 Я люблю мужскую собранность латыни,  
 Фраз чекан и грозный звон глаголов.  
 Я люблю, когда из-под забрала  
 Мне латынью посвящённый просверкнёт.  
 В польскую деревню на закате алом,  
 Выбив русских, мы вошли. На полотне ворот,  
 Четырьмя изломами черты четыре выгнув,  
 Кто-то мелом начертил врага эмблему  
 И, пониже, круглым почерком: «*Hoc signa*  
*Vincemus!*»<sup>\*</sup>  
 Кто ты, враг неведомый? Ты с Дона? Или с Клязьмы?  
 И давно ли на чужбине? и собой каков?  
 И кому писал ты? Разве  
 Учат Тита Ливия в гимназиях большевиков?  
 И ещё — что ослепило вас, что знак паучий  
 Вы могли принять за русскую звезду?  
 И — когда нас, русских, жизнь научит  
 Не бедой выклинивать беду?

Для поляков клеили Осубкины<sup>\*\*</sup> воззвания...  
 Шли эР-эСы<sup>\*\*\*</sup> в пыльном розовом тумане...  
 Реактивный век катился по деревне...  
 Я стоял перед девизом древним  
 Как карфагенянин.

---

<sup>\*</sup> С этим знаком победим (*лат.*).

<sup>\*\*</sup> Осубка-Моравский — глава марионеточного польского правительства.

<sup>\*\*\*</sup> Реактивные снаряды («катюши»).

ВАНЬКА

И напишут в книгах, и расскажут в школах,  
 Как бойцы стальные выбили врага  
 За Днепра священные берега,  
 Сев на башни танков, промеж пуль весёлых,  
 «Агитатора блокнот» сжимая, как сокровище,  
 ДОТы затыкаячи то мякотью, то грудью, —  
 И никто не бился лбом о Малые Козловичи,  
 И никто не гнил, покинутый за Друтью...  
 В мартовское хилое погоды  
 На плацдармах — всемерно тоска:  
 Ночь от ночи слушай — половодьем  
 Не взломило лёд? не тронулась река?  
 Недолга и ненадёжна белорусская зима.  
 Хорошо, что кто-то, очень старший,  
 Догадался за добра ума  
 И своею волею монаршей,  
 Указующий под Жлобин устремля,  
 Бросил нас туда форсированным маршем,  
 Через лёд, болота, чащи, голову сломя, —  
 Так стремительно, как будто главный бой  
 Там не выиграть без нашего дивизиона.  
 Прибежали — тих, покоен лес пустой,  
 Наледень на ветках оголённых,  
 На сугревах — первые проталины,  
 Лужами в ложбинках талая снежница,  
 И когда ударит где-то пушка дальняя,  
 В блиндаже у печки так уютно спится...  
 Временами — оголтый бой,  
 Сонный мир — такой же полосой, —  
 Кто б тебя, война, иначе вынести мог?  
 Распускающейся медленной весной,  
 Прикорнувши на полянке в солнцепёк,  
 Набирайся соков с лесом и землёй!  
 Голубою глубию небо налилось над нами,  
 Распушились ветви, жили птицы в них,  
 Фронтовые лошади резвились табунами  
 Вольной травкою пролесков луговых.  
 Но, живя на фронте, жди худого дня.  
 Солнце — на весну, и в штабах колготня.  
 Заметались «виллисы» дорогами лесными,  
 Зазвонили телефоны в полночи,  
 Пушки шли ночью, пехота шла за ними, —  
 И с высот штабных к нам докатилось снова:

«Срочно!  
Через Днепр — на место старое опять!  
Стать дивизиону возле Рогачёва,  
Батарее Нержина отдельно слева стать!»  
Беды полосой и полосой везенье.  
Лихо козырнувши, принял я приказ:  
Сколько понимаю, тяжесть наступленья  
Минет моих мальчиков на этот раз.  
Фронтovou мудростью не первый год владея,  
Не промедля мига — маху из-под Жлобина! —  
И как в воду канул. Вывел батарею  
Не путём указанным — путём особенным:  
Где поглуше, где и ехать-то нескладно,  
Где зато начальству нас искать накладно,  
Где безлюден, отчуждён, *ничей* передний край, —  
Адьютанты и пакеты, будьте вы неладны! —  
И без вас недолог он, солдатский рай!..  
За Днепром по краю круч — немецкие траншеи,  
Сзади нас — рокадные дороги тыловые,  
Здесь — провал. И только вечность веет  
На просторы эти неживые.  
В содроганьях мир. Угрюмо пламенеет  
Справа, слева кровью, что ни пядь земли, —  
Здесь лежит, обширная, дернеет...  
Отступились. Бросили. Ушли.  
Никого в покинутых деревнях.  
Запустенье брошенных садов.  
Завязи плодовые деревьев  
Птицам на расклёв.  
Потемневший тёс обшивок избяных.  
Дверь откроешь — пахнет нежилым...  
Двор зарос бурьяном у домов иных,  
Да и тропка тоже заросла к иным.  
Если и увидишь — из какой трубы  
Вьётся еле сизый тонкий дым,  
И услышишь гомон у избы,  
Смех людской да фырканье коней —  
Знаешь: прибудилась солдатня  
До исхода дня  
Или на пару дней.  
На задворках развалят бурты,  
Напекут картофеля к обеду,  
Постоят у снимков: «Кра-со-ты!..  
Где ты, молодуха? где теперь ты?..»  
И — уедут.  
Не секут осколки зелень рощи,  
И по соснам не стучит топор.  
Редко  
Проплывёт ночной бомбардировщик,  
Сбросит бомбу глупую неметко  
На шальной костёр.  
И земле мечтается уход и плодородье.  
И не верится, что всё вокруг — война.  
Нерушимое краснопогодье.  
Тишина...

---

Я тогда был сам в себя влюблённым —  
В чёткость слов и в лёгкость на ходу.  
В тот июнь я приколол к погону  
Белую четвёртую звезду.  
Страсть военная! В каком мужчине нет её!

Через год студента не узнаешь в офицере:  
Где она, сутулость, осторожность кабинетная  
В этом быстром ловком звере?  
С гибкою напряженностью в теле  
Отвечать небрежным вымахом руки, —  
Так, чтобы ремни натянуто скрипели,  
Так, чтобы звенели в шпорах репейки.  
Узлы судеб разрубать мгновенно,  
Жизнь людей — костяшками метать.  
Ты сказал — и будет! будет безотменно! —  
Каково мальчишке это знать?  
Вот они, молчальники, работники, тягло,  
Деды и отцы, пережившие вдвое,  
Их глаза застыли, как стекло,  
Вот они, перед тобою.  
Оброни ты слово беззаботное,  
И тотчас же сбудется по слову твоему,  
И в деревне пензенской семья сиротная  
Наклонится к чёрному письму.  
Вот они — с готовностью, с надеждою глядят  
На твою холодную решимость,  
Вознесут тебя и всё тебе простят,  
Раз уверовав в твою непогрешимость.  
...Мне казалось, я любил солдат:  
В час недобрый шуткою не раз развлёк их,  
Гауптвахтой и моралью не морил,  
Если же на полном вздохе лёгких  
Не со зла когда и материл,  
Выворачивая так и эк, —  
Так на том стою я, русский человек.  
И они меня любили, мне казалось,  
И с уверенностью этой так бы я и прожил,  
Так и внукам завещал бы, не солгав на малость...  
Как у всех счастливых, у меня бы тоже  
Совесть — курослепой оставалась.  
Совесть, совесть! Льстивый, лживый лекарь!  
В чём не потакнёшь? Не заживишь — чего?  
Право на другого человека! —  
Кто даёт? Кто смеет брать его?!  
...Ты иди вперёд, а я останусь сзади —  
Боем управлять.  
Стань на пост! — я утомился за день,  
Надо мне поспать.  
Поворочайся на службе безразумной —  
Щей тебе навалят в котелок.  
Я ж — умом тружусь, и потому разумно,  
Что печенье с маслом получу в паёк.  
Даже если труд твой стало бы мне жалко, —  
Засмеют меня! — ведётся таково:  
У себя в землянке ляжете вповалку,  
Мне ж отдельно выстройте, на одного.  
От осколков под накат блиндажный опустясь,  
Сяду за стол, — трубку телефона теребя,  
Исправлять разорванную связь  
Я пошлю тебя.  
Добрый я — спрошу тебя о доме,  
Через слово выслушаю, пощучу — засмейся.  
Напишу письмо, чтоб там, в райисполкоме  
Не теснили нищую семью красноармейца.  
Награжу тебя значками, и медальками, и даже  
«Красною Звездой», —  
Мне ж на грудь за *руководство* ляжет  
«Знамя красное» и «Ленин» золотой.

У врага чему-чему,  
Поучиться доброму едва ли, —  
Переняли,  
Что трудиться стыдно офицеру самому.  
Что умел — и от того отвык.  
К чемодану и к обеду моему  
Приловчён послушливый денщик.  
Сбегай! Принеси! Захарыч! Эй!  
Вынь! Положь! Почисть! Неси назад!  
Нет, не крикну: «Старый дуралей» —  
И не вспомню: пятеро внучат...  
А ведь я в солдатской вашей коже  
Голодно и драно тоже походил, —  
Но потом — училище — походка! — плечи! — ожил!  
Всё забыл?  
И теперь? казнюсь, казнюсь, пока́ меня  
Не охватит первое круженье головы.  
В лапах горя все мы мечемся покаянно,  
А в довольстве все черствы.

---

Долго ль, коротко ль, спеши иль не спеши —  
Добрались до места, развернулись.  
Оглянулись —  
Ни души...  
Притянули справа связь огневики.  
Ни у них пехоты, ни у нас пехоты,  
Под ногами за версту в лесу трещат сучки.  
Только где-то УРовцев\* рассыпанная рота —  
Днём спала, а ночью к пулемётам  
Становилась к берегу реки.  
Перед ними, там, где тени леса  
Не могли на воду упадать,  
Летним небом, избледна-белесым  
Чуть посверкивала сумрачная гладь.  
Дальше — мгла. Враждебно скрылись в темени  
Берег против берега и против стана стан.  
Временем  
Ни шороху,  
Ни шолоху  
Ни здесь, ни там.  
Временем всхлопочут озабоченно,  
И, чтоб не подумал враг, что бодрых нет, —  
Наши выпустят трассирующих очередь,  
Немцы бросят грозд трепещущих ракет.

---

Рядом, да не в пекле, так и дождались мы  
Дня прорыва при конце июня.  
В сумерках я шёл по лесу накануне,  
Погрузясь в заботившие мысли.  
Под ногами стлалась в иглах и в песке  
Еле различимая тропа лесная.  
Вдруг огни костров невдалеке  
Просверкнули, хвойник просекая.  
Кто такой? Позамерзали? Что они там светят?  
Идиоты. Берег рядом. С воздуха заметят.  
Нет, найди другой народ, чтоб нашего дурней!  
И свернул сквозь чащу в сторону огней.

---

\* УР — укрепленный район.

Командира части я нашёл  
 В крохотной земляночке с накатом жердевым,  
 Строенной давно, не для него, не им.  
 Он сидел один, облокотясь о стол,  
 Из трофейных плошек выставил аллею,  
 По десятку справа, слева запалил,  
 Выстроил бутылки по четыре в батареею, —  
 Пил.  
 Кодекс фронтовой — нехитрая наука,  
 Знают все его, хоть нет его в уставах:  
 И — поднять когда я должен руку,  
 Не поднять когда имею право.  
 Если встречный старше на два чина  
 И не женщина, конечно, а мужчина, —  
 Подымай, приветствуй, не отвалится рука.  
 Если разница в чинах на единицу —  
 Козырять такому не годится —  
 Враз тебя сочтут за новичка.  
 Если же со всею строгостию службы  
 Я приветствую отменно ровняша,  
 Это — знак фронтовой бескорыстной дружбы  
 Или — озорничать просится душа.  
 «NNN-ской пушечной бригады... батареи звуковой...»  
 — «Командир штрафной...»  
 Командир штрафной армейской роты...»  
 — «Нержин!»  
 — «Уклеяшев».  
 — «Здравствуй!»  
 — «Ну, здоров».  
 — «Слушай, капитан, насчёт твоих костров.  
 Маскировка где ж?» — «Да ну её в болото!»  
 — «Но ведь вы тут не одни!» — «Да в лоб вас всех задрать!»  
 Я не лично про тебя... Ты — сядь...  
*Звуковой*, сказал ты, батарее? Это что ж за зверь?  
 Если, скажем, пушка, так её ты  
 Чем же зарядишь теперь?  
 Ты меня не путай. Думаешь — пехота,  
 Не поймёт?  
 Нам, пехоте, тоже пальца в рот...  
 Звать тебя?.. Ну, попросту, Серёжа...  
 Слушай, парень, ты скажи, не врёшь, а?  
 Ты — не СМЕРШ?.. Я — драть их разлети!  
 Ползают и нюхают... Ну, ты меня прости.  
 Ты не обижайся, наливай, Володька.  
 Пей!.. Что кривишься?.. Хороший самогон.  
 Ну, конечно, он — не водка,  
 Но литруху трахнешь — разбирает он...  
 Вы там *Бог Войны*, а мы — *Полей Царица*,  
 Ползали на брюхе, знаем...  
 Чистеньким оно красиво и годится,  
 А таким, как ты да я, — ведь мы-то понимаем.  
 Раз... два... три... четвёртую по счёту  
 Эту я штрафную отправляю на тот свет.  
 После госпиталя как хотел в пехоту —  
 В человечую, в простую,  
 В нештрафную! —  
 Нет!!!  
 Где служили? Кем?.. Ну, что бы  
 Мне соврать тогда?  
 Ляпнул... Как схватились: богатейший опыт! —  
 И — сюда...  
 ...Да не тычь ты в нос мне "капитана"...

Что за капитан?  
 На погон ты не смотри! Ты в душу глянул?  
 Ванька я! Иван!  
 Видишь ты, к чему оно приводит —  
 Должность, чин...  
 Вот сижу в землянке я сегодня,  
 Пью а-адин...  
 Командир штрафной такая должность!  
 Я тебе скажу: свинья! палач!!  
 Ну, бутылок вон... ну, если есть возможность?..  
 Не могу людей позвать, хоть плачь:  
 Сам я чистый... ну, не чистый... белокожий...  
 А бойцы мои завроде негров...  
 А взводами командиры — полуветки тоже...  
 Как их?.. полосатые такие... зебры!  
 Вот сижу и жду: приедет старшина,  
 Привезёт солдатам водки и конфет —  
 Перед смертью им положено немного,  
 На дорогу, —  
 С ним и выпили б! Так провалился, сатана,  
 Нет и нет!  
 А тебя я и не ждал, Володька.  
 Ты да я — мы понимаем: перед боем скука!..  
 Парень ты — что надо. Режь селёдку...  
 Друг ты настоящий... Лук вон...  
 Только как ты пушки заряжаешь звуком?  
 Ох, пройдоха!..  
 Ну, давай по стопочке!..  
 — «Ты не понял.» — «П-понял я!» — «Так объяснил я плохо.  
 Видишь ли, Ванюша,  
 Нет у меня пушек,  
 Есть коробочки.  
 Мне когда понадобятся пушки,  
 Я стреляю из чужих.  
 А мои коробочки — они как ушки —  
 Я подъеду тихо и расставлю их.  
 И когда ты хочешь — ночью ли, в тумане,  
 В дождь, в мятель, —  
 Только выстрелят у немцев, — веришь, Ваня —  
 Через пять минут на карте ставлю цель.  
 Мне звонят: какая? — Вот такая.  
 — Будем бить. — Давайте два снаряда.  
 Выстрелят — а я разрывы засекаю  
 И командую, насколько повернуть им надо.  
 И тотчас идём на поражение,  
 Если очень цель кому докучит.  
 А бывает лучше:  
 Батарей этих немецких поднакопим,  
 Кому надо — разошлём,  
 И в артподготовку — скопом —  
 Бьём!»  
 — «Эх ты как!..  
 Ты скажи, какая техника!  
 И на завтра приготовлено?» — «Конечно».  
 — «И подадите?» — «Подадим». — «Оживут?..» — «Навряд».  
 — «То-то я заметил: что они, сердечные,  
 Иногда молчат?  
 Что-то я... постой... да! — пулемёты  
 Давите?» — «Нет, пулемёты не берём...» — «Спасибо!  
 Техника, наука, а штрафную роту  
 Значит, это... рыбам?  
 Завтра мне какую? — раз... два... три... четвёртую! —  
 Пулемётами покосят.

Конечно, мёртвые  
Ни с тебя и ни с меня не спросят.  
Нет, ты про коробочки оставь.  
Ты пойми манёвр: штрафную роту вплавь —  
Здесь! А сила — там, направо, в том лесочке,  
И артподготовка — справа, а не тут.  
Мне-то что? С биноклем сяду на песочке,  
А они на брёвнах поплывут.  
Да и то, ты видишь — сколько факелов  
На прощанье я себе зажжёт?  
Командарм — пузатая скотина, что ему — оплакивать?  
Я про лодки сунулся, дурак, ему, —  
Говорю, что Ванька Уклеяшев жох —  
Плыть, так чтоб доплыть, прыжок — так чтоб прыжок!  
— Лишних лодок нет. Враги народа  
Могут и без лодок...  
Я — ты хочешь знать? — отчаянный вояка,  
Потому меня в штрафной и держат.  
Ладил я и мерил всяко:  
Ни хрена не выбиться за стрежень.  
Эх, душа! — за тот бы берег зацепиться!  
Сесть там на плацдарме!..  
Широка водица...  
И не это нужно командарму.  
Командарму нужно только *отвлечение*.  
Что же, отвлечём.  
Так что, выпьем, Стёпа, ради развлечения...  
На войне мне жизнь без водки нипочём.  
...Что уставился? Немало брата нашего  
Говорит умно, а очень это нужно им?  
Не жалеют и не слушают Ваньку Уклеяшева,  
И тебя, Алёшка, тоже не послушают...»  
И, в дымину пьяный, посреди бутылок,  
Он по-новому предстал моим глазам —  
Опалённый нос его в сети лиловых жилок  
И на подбородке — рваный шрам.  
Уклеяшев нё пил и не говорил.  
По бороздкам лба его катил  
Пота трудного светящийся горошек,  
Спутанные волосы клубились, — и чадил  
Брызжущий огонь трофейных сальных плошек.  
Множились и шевелились тени  
На стене и на накате потолка —  
И в прозрении привиделся мне гений  
Неосуществлённого прыжка.

---

Не в бинокль поигрывал с пригорка —  
Своровавши лодок, спрятав их в лесу,  
Утром вырвался на взбешенной моторке  
И пошёл за смертью, стоя на носу.

СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ

Пламя выпрыгнет под ветви низких елей.  
 Лапника подкинут — густо валит дым.  
 Ворохом — винтовки... Комьями — шинели...  
 Человек двенадцать. Подойти бы к ним.  
 Недоросток-мальчик тянет суховершьё  
 И, меня заметив, шурится в свету.  
 Мне — какое дело? Есть там где-то СМЕРШ.  
 Я их знать не знаю, тут я — подойду.  
 Гимнастёрки — наши. Наши и обмотки.  
 Только плечи без погон... И без звёзд пилотки.  
 Навзничь. И ничком. Согнувшись. И вразвалку.  
 Мужичок портянки вывесил на палках...  
 Тот загрёб картошку в жаркую золу...  
 Там, едва не лёжа, ослонившись о-ствол,  
 Царственно закинув за плечи полу  
 Драненькой шинели, замер с превосходством  
 Юноша-еврей.  
 Замолкли. Оглянулись.  
 Мало что не встали — не пошевелинулись.  
 И, увидевши, что сбился край плаща,  
 Обнажая звёздочки, отполз за спину,  
 Я его повёрткой виноватою плеча  
 На погон надвинул.  
 «Здравствуйте, *товарищи!*» — Глядят нехорошо.  
 — «Здравствуйте...» — в два голоса. Молчат. Молчу.  
 Что — пришёл?  
 Чего — хочу?  
 Я и сам не из туристов. Мне не меньше тошно.  
 Почему ж звучит так унижительно, так пошло  
 Голос мой: «Соседей принимаете к костру?  
 Завтра *огоньку* вам поддадим...»  
 (Боже мой! Зачем я вру?  
 Дам — не я. А тот, кто даст, — не им.)  
 «Огоньку-у?..»  
 — «Чтой-т пушек не видали мы, как шли».  
 — «Говорит же человек...» — «А у моста везли...»  
 — «Если б их из пушек рубанули крепко...»  
 — «То и что? Народ!  
 Ехало не едет — «эх» не повезёт...  
 Репкина забыли?» — «Что это за Репкин?»  
 — «Был такой. Ну правда, что пловец неважный...»  
 — «Там какой бы не был... Может с кажным...»  
 — «И скажи — стреляли б, настушенье,

А то так — ни за хрен, на ученьи,  
В полной выкладке, со всем бревном утоп.  
Да и вот он нахлебался, Санька этот, клоп».   
Взглядом выкаченных глаз в огне бесцельно странствуя,  
Толстогубый юноша сказал в пространство:  
«Думают их благородие —  
*Mauvais genre*, гостить изволят у шпаны...  
Мы — напротив, патриоты. И за маму-родину  
Тут воюют даже пацаны».  
— «Сколько ж, Саня, лет тебе?» — «Пятнадцать».  
— «И... за что ты?»  
— «По указу». — «По какому?» — «Опозданье. На работу».  
— «Опозданье?» — «Два часа».  
— «Судили?» — «Полкатушки».  
— «Это как?» — «Что — как? Пятёрка. Счёт простой».  
Счёт простой? Но я позорно мнусь перед мальчужкой:  
«Я не понял, Саня. Пять — чего же пять?»  
Усмехнулся, строгонький, худой.  
«Лет, конечно, что тут не понять.  
Заменили месяцем штрафной».

Рыжебровый мужичок обулся.  
Хворосту подкинул, подновил огня.  
Как пришёл я, он не оглянулся,  
Так сидел, словца не пророня.  
Красноватое, истрескано его лицо.  
Самodelку-трубку вытянул кургузую,  
Натолкал табачной крошки в жерельцо,  
Из костра достал угля рукою заскорую.  
Смуглый невысокий парень рядом,  
В землю весь уйдя, так сел перед огнём,  
Обронил: «Кузьма Егорыч! Ряда!  
Курнём?»  
— «На́ уж, заверни, Игнатъичу оставлю».  
— «За тобой, Павлуша!» — «На́ бумажку, Павлик!»  
...Я меж пальцев комкал хвойки ветку липкую.  
Любопытный барин — вот для них я кто...  
Тот же всё еврей — презрительный, оливковый...  
Мальчик на коленях... И в огне желто...

«Да, так что, Игнатъич, при царе, так что?»  
— «Говорю, что люди жили как-то посмелее.  
Не чурались, не боялись, и в тюрьме вольнее:  
От купчих каких-то булочки, ватрушки,  
Если суп, так баландою не был отродясь.  
А теперь исчезнет человек — и все прижали ушки,  
Всяк сабе сопит, отгородясь.  
Нас после суда когда везли в Таганку,  
Напослед ещё заводят арестантку —  
Девушка такая, Любонька.  
Вольная на суд пришла, срок дали — и под стражу.  
Миловидная, да простенькая, глупенькая;  
Нарядилась в суд как лучше: блузочка голубенькая,  
А в туфлях — так в модных даже.  
Где-то в учреждении служила секретаршей.  
Ну, и стал к ней прилипать её начальник старший.  
Раз едва отбилась — долго ль до греха?  
А у ней — жених на фронте, любит жениха.  
Мол, увольте, просит. Тот сперва озлился.  
Заявленья рвал. А вдруг и согласился:  
Ну, не выйди завтра. И считай — уволена.  
Та по дурости — не вышла. А бумажки — нет!

А начальник — в суд: уход де самовольный!  
И нахомутал на память ей пять лет.  
Жалуется слабенькая, ропщет.  
А кому до ней? У всех на сердце хмуρο.  
Затолкали в воронок нас общий  
И с десяток к нам — мордатых урок.  
До Таганки было с полчаса езды.  
Отобрали эти урки, у кого что из еды,  
А потом заметили девчёнку,  
В уголок прижали, заголили ей юбчёнку  
И — по очереди... Бьётся, разметавши грудь...»  
— «Ну, а вы?» — «Мы? Всяк сабе». — «Стучали?» — «Чуть.  
Дверь нам не откроют, а ножом пырнуть —  
Фу!.. Молчим. Свои родные дорогй...  
И ведь сволочи — девчёнковы же туфли  
и с кого-то сапоги  
Сняли, постучали как-то там по-хитрому —  
Конвоиры мигом растворили  
И, в обмен на обувь, — несколько поллитров им.  
Тут же и распили.  
Дом родной для них — в тюрьме ли, в коробке —  
Середь бела дня. По улице. В Москве!..»

Выгасал костёр. Сереющею плёнкой  
Угли верхние подёрнулись слегка.  
Саня разживил его, подбросил сушняка,  
А наверх — молоденькую цельную сосёнку.  
Пламя вымахнуло красную лузгу.  
С треском капала на угли смолка.  
«Вы — сидели при царе?» — «У-гу».  
— «И — за что?» — «А за листовки». — «Долго?»  
— «Уж не помню, притупилась голова.  
Месяца, должно быть, три ли, два».  
— «Были в партии?» — «Нет, не был я, сынок.  
Я — простой рабочий, токарь.  
А теперь — *десятку* дали срок,  
Во как!..»  
— «А теперь за что?» — «Теперь, браток, я — вор:  
Выносил с завода, продавал на рынке.  
Жить-то надо? Ртов голодных хор.  
С карточек с одних давно бы подвело.  
В месяц на руки семьсот, прикинь-ка.  
На базаре хлеб — сто двадцать за кило.  
До чего ни тронься — всё в сапожках:  
Тридцать пять рублей кило картошки,  
Пожалуйста!  
Проведёшь — хорош, а загребут — не жалуйся».

...Если это правда — что ж мне, волком быть?  
Что пришёл я душу разрывать тут?  
Крикнуть, перебить: «Молчите! Хватит!  
Этого не может быть!»  
Не уйти. Не крикнуть. Взгляда не отвесьть.  
Говорят так просто... Будто так и есть...  
Этот сел за страшный грех доносительства —  
Не донёс на мать свою родную,  
Что на кухне клеветала на правительство;  
Тот сверло занёс на проходную;  
Третий карточки подделал с голодухи,  
Пятый выловлен десницею бухгалтерских проверок;  
Кто-то сел за то, что слышал где-то слухи  
И не опроверг.

Лишь еврей молчал, в огонь уставясь с горечью,  
 Да Егорыч рыжий. А сосед Егорыча,  
 Весь сложившись вдвое, подбородок о коленко,  
 Парубок донбасский, Павлик Бондаренко,  
 Смуглый и упругий, ловкий, как зверёныш,  
 Путь свой удивительный небрежно рассказал.  
 Начал от границы; в окруженьи отступал;  
 Бился за Орёл, за Тулу, за Воронеж.  
 И под Сталинградом побывал.  
 В танковой разведке он на мотоцикле  
 В сорок третьем к марту вырвался в Донбасс.  
 Наступать начальнички в ту зиму не привыкли  
 И держались сзади про запас.  
 Взяв на сохраненье документы, ордена,  
 Подполковник в штабе обнял перед рейдом:  
 — «Ну, орёл, кроши и не робей там!  
 Часть тобой гордится и страна!»  
 Оторвался — и пошёл на юг.  
 В люльке — рация, ракеты и взрывчатка.  
 Вдруг —  
 Контрнаступление. И в беспорядке  
 Армию, как в сорок первом, — ветром  
 Сдуло на восток. Бросали танки,  
 Пушки. Две бензиновых банки  
 Спёр у немцев — двести километров  
 Подхватился за своими по тылам врага.  
 Грязь, распутица, не колесо — нога  
 Вязнет! — дождь, и снег, — дорожка!  
 Целиною, задорогой, по ночам и днём,  
 Оторвало палец под своей бомбёжкой  
 И ушибло в погребе бревном.  
 Костоправ-старик. Лечиться тройку дней.  
 Выбрал себе хату, где дивчина злей.  
 Зинка чернобровая, яблочко-девоха...  
 За войну повзросли, без мужей им плохо.  
 Виснет — оставайся! Держит у крыльца...  
 Бросил девку! бросил мотоцикл! — на жеребца!  
 Русские напали же — майор и два бойца —  
 Взять коня себе хотели, ну куда там!  
 От троих отбился автоматом,  
 Хуторами, тропками добрался до Донца.  
 Конь свалился. Палки в руки и ползком.  
 Лёд трещит. Вот-вот пойдёт. Уж плох.  
 Перебрался. Только вышел бережком —  
 Тут они, собаки! *Hunde hoch!*  
 В плен. В Германию, на рудники. Ночами на работу.  
 Конвоиры. Пулемёты.  
 Цепь сплошная.  
 Чужь и даль тоскливая.  
 Павка шурится глазами-черносливами,  
 Властно дёргает губой, припоминая.  
 Пограничник-осетин. Балтиец Колька.  
 С голоду подохнем поздно или рано.  
 Побежим? Подстрелят — ну и только.  
 И втроём — в канаву, выждавши туману.  
 Унырнули под огнём. Повсюду телефоны.  
 В каждом доме бауэра звон тревожный.  
 Карту сообщений железнодорожных  
 Выкрали — висят у лопоухих по вагонам.  
 К пиджакам цивильным — голубые *ost'ы*.  
 Днём в кустах, в сараях, брились топорком,  
 Уходили за ночь километров по сто,  
 На подъёмах прыгая, товарняком,

А наставят патрулей — и сто шагов не просто  
 Перейти у моста пешечком.  
 В бункеры и в кухни забирались.  
 То, бывало, до отвалу наедались,  
 То неделей брюквы не найти в земле.  
 Как-то немку вилами пришлось им заколоть:  
 В поле песни пела, подступила вплоть.  
 И попались всё-таки на Лодзинском узле.  
 Свист. Фонарики. Испуганные лица.  
 Крики. Выстрелы. Гудки. Облава.  
 Видел Павлик — осетина повела полиция,  
 И зарезало балтийца дёрнувшим составом.  
 Сам не помня — как, в каком чаду,  
 Силы жизни все в один прыжок собрав,  
 Он успел вскочить на бешеном ходу  
 В этот же состав.  
 Спрятался. Во рту от крови кисло.  
 Слабость. Знобь. В ушах — последний выкрик друга.  
 И — уснул. Проснулся далеко за Вислой  
 И недалеко до Буга.  
 Осень шла. Опять раздрябло и ослякло,  
 Но ни автомата, ни коня,  
 И скрываться от бандеровцев, от немцев, от поляков  
 Ночью тёмной и при свете дня.  
 Юг Полесья. Встречу — бесконечные обозы —  
 Скарб, детишки, коровёнки и крестьянок слёзы,  
 И мужик с телегой вровень — рыскать счастья по миру,  
 В заревах далёких горизонт...  
 Немцы отступали. Расколосся фронт.  
 Подходили русские к Житомиру.  
 Тут растяпе разве фронт не перейти.  
 Повстречался с танковым десантом.  
 «Стой! Тут мины!» — Спрыгнули.  
 Бьют по плечу. В чести! —  
 Надо ж было! — на его пути  
 Тот же корпус танковый, где он служил сержантом!!  
 И ребята те же: «Чёрт! Откуда взялся?»  
 Повар тот же — каши уполовник.  
 И начштаба тот же. Только вширь раздался,  
 Да «Суворова» повесил. И — полковник.  
 Ну, сейчас обнимет — ордена, оружие...  
 На ногах едва — пустили б нынче в бой!  
 Что-то не торопится. Качает головой  
 И в раздумьи тянет: — «Как же это, друже?  
 Плохо получается с тобой».  
 СМЕРШ. Бежал из плена? Как бы эт' ты мог?  
 Ловко брешешь, падлю, патриотины кусок!  
 Растерялся Павлик: «Если вы не верите,  
 Вот дойдём до лагеря — свидетели, проверите».  
 — А пока тебе — оружие? Хитёр.  
 Невербованный вернулся сам! — поверьте-ка!  
 Нам проверку фактов заменяет с давних пор  
 Наша диалектика.  
 И — в *фильтрационный* лагерь, на Урал.  
 В окруженьи кто, в Европе побывал —  
 Там уж их немало, за колючкой пареньки.  
 Пайка и баланда. Рудники.  
 По ночам срока мотают, это как закон:  
 Десять — в зубы, пять — *намордник*, и садись в вагон.  
 Огляделся Павка, разузнал  
 По приказам Сталина, где корпус воевал,  
 И — один, чтобы друзья не продали, — бежал.  
 Средь своих — шутя: и днём, и ночью,

Пассажирским, и товарным, и рабочим,  
И военным эшелонам, и машиною попутной —  
Зубоскал-солдатик, парень шалопутный,  
На ходу сходя и на ходу садясь,  
И весной сорок четвёртого, в распутицу и грязь:  
«Разрешите доложить, товарищ генерал?  
Вот как тут — и *там* я так же убежал!!»  
Только ахнул генерал-майор:  
«Бондаренко! Дьявол! Ну, солдат!..  
Хоть бы на штрафную как сменять твой приговор.  
Эх, и мне ведь трудно с ними, брат...»  
Снова СМЕРШ. Тюрьма. Допросы и побои.  
— Почему не кончил сам с собою?  
— На Донце не застрелился почему?  
— Прислан по заданью по чьему?  
— Кто помог? Бежал из плена как?  
— Сколько заплатили, гадина, тебе?  
...Именем Союза... Родине изменник Бондаренко...  
...Добровольно перешёл к врагам...  
По *пятьдесят восемь один бэ* —  
К десяти годам!  
Польхнул их матом из горячей груди:  
«Аучли вы, гады, как я воевал?!»  
— «Есть заслуги. *За заслуги мы не судим*», —  
Прокурор сказал.

И зачем я подходил? зачем растрогивал?  
Где суды такие? где такие лагеря?..  
Холмик углей прорывался синеватым огоньком.  
От Днепра тянуло лёгким ветерком.  
Наступления предтечи верные,  
Поползли над лесом *кукурузники* фанерные.  
От невидимых, от них всё небо тарахтело.  
Меркнул наш костёр — и меж вершинами светлело,  
Раздавалась, отступала вкруг по лесу тьма.

...Слушал-слушал, рыжий отозвался и Кузьма:  
— Этой зимою, полгода тому,  
Случилось и у меня в дому.  
Спим. Слышим — стучат. Громчей:  
— Эй, хозяйева! Эй!  
Отвори!  
Кто живой, подойди к двери! —  
А за тучами месяц, светло. Глядь из окна —  
Вот тебе на! —  
Два офицера, один старшина.  
Не по мою ли душеньку? Открыл.  
— Ты, спрашивают, приятель,  
Колхоза здешнего председатель?  
Нам на эту избу показали.  
— Он, говорю, попали.  
Али дело какое? — Да без дела не шли.  
Без дела б иное время нашли.  
— Ну, заходите. — Зашли.  
*Мостами* веду их в темноте,  
Спрашиваю: лошади-те ваши где?  
— Отсталый ты, батя, отстал далёко.  
У нас — колесница Ильи-пророка.  
— Неуж самолёт разбился? — Нет, смеются, самолёт цел,  
Назад полетел.  
Ладно, думаю, смеяло не иступлено — смейтесь.  
Засветил в избе — заходите, грейтесь.

А у меня сыновья на фронте, дочь одна,  
 Она на полатях, на печи жена.  
 Смотрю на гостей — одеты что надо,  
 И чистенько, ну бы с парада:  
 Валенки, ушанки, полушубки голевые,  
 За плечьями мешки вещевые,  
 И в мешках довольно наложено,  
 Всё как положено.  
 НКВД, не иначе. Знаю я их порядки.  
 Уж больно все трое исправны да гладки.  
 Нет, гляжу, разболокаются, разбираются,  
 Ночевать, что ли, собираются.  
 Что ж, спрашиваю, добрые люди, — зачем да откуда?  
 Хозяину б знать не худо.  
 Кто из вас тут старшой?  
 Подступил ко мне тот, что одет старшиной:  
 — Пожди, отец, насмотришься всякого.  
 Старшего нет у нас, все одинаковы.  
 Спать не поспишь — не кляни нас, папаша:  
 Одна у нас ночка, да ночка та наша.  
 Поперву заката-ка нам ужин,  
 Потому как по жизни своей панихиду служим.  
 Вина нам побольше. Богаты.  
 Не постоим за платой.  
 А сам — ступай, где у вас телефон,  
 Звони, подымай сюда весь район. —  
 Стал я тут домекать. А что, говорю, парнишки —  
 Не малы ль у вас будут чинишки,  
 Чтоб к вам вызывать из району?  
 Должностя-то ваши какие? — Отвечают: Шпионы.  
 — Эй, парень, шутить воля твоя,  
 А не шути дороже рубля!  
 — Какие могут быть шутки в военное время?  
 Поверишь, как получишь премию.  
 Прибегут к нам, батя, прибегут со всем старанием:  
 Мы-то ведь — прямехом из Германии...  
 — Что это? перепрашиваю, — да ты в уме?  
 Фронт-то вроде не в Костроме?  
 А мы-то невдалеке от Галича.  
 — Говорю тебе: из Германии давеча.  
 В Берлине я был вчера поутру,  
 Верно тебе говорю,  
 Верно, как вот в твоей избе стою,  
 Как вижу вон девку твою.  
 А она-то, воструха,  
 Краешком глаза да краешком уха  
 Сснулась было с полатей —  
 Где уж тут спать ей! —  
 Да Степана встретила взгляд,  
 Прыснула — и назад.  
 — Эх, — кричит Степан, — сердце во мне загорелось!  
 Хочу, чтобы девка твоя в шелка оделась.  
 На шелково платьице когда-ни-то взглянет  
 Да меня непутёвого помянет.  
 Развязывает он свой мешок,  
 Достает платья на три — беленький шёлк!  
 — А ты, папаша, издобудь-ка нам самогону,  
 Да зови кого-ни-то из району. —  
 Ладно, говорю, самогону придёт черёд,  
 У нас и медовая брага живёт.  
 Ты, старуха, видно, вставай,  
 Угощенья нам подавай,  
 Да самоварчик приспей нам,

А позвонить — успеем.  
 Достают они из мешков тут, брат,  
 Печенье-кручение, консервы, шоколад:  
 — Едал ли? видал ли, папаша, Европу? —  
 Это мне Стёпа.  
 Да. Ну, сели мы. Только Степан беспокоен — встанет,  
 Вдоль стен пройдёт, карточки оглянет.  
 Смотрю на него — редко такой молодец удаётся:  
 Не родня, а в душу вьётся.  
 — Эх, говорю, парень, похвалить бы твоего отца,  
 Да голову зарубил тебе не с того конца.  
 Руки за ремень, стал. — Ты, батька, о чём?  
 — Да всё ж вот о том, что ты дуrolом,  
 Да и приятели твои тоже  
 С тобою схожи.  
 Шпионы-то вы, я вижу, лядащие,  
 Не настоящие?  
 — А ты посудить и сам волён,  
 За шесть месяцев какой шпион?  
 — Как ж эт' вас на такое ремесло  
 Нанесло?  
 — Да уж не заварили б круто нам,  
 Не прыгали б с парашютами...  
 Как они город тот назвали?.. Гага!  
 Там, видишь, все подписали бумагу:  
 Пленных, значит, кормить,  
 С голоду не морить.  
 Ну, а от нас  
 Поступил отказ:  
 Народу де у нас хватает,  
 Кто сдался — пусть подышает.  
 Другие-то пленные сыты, будешь упрямым,  
 А наших — в яму да в яму.  
 После уж, как немцев отвсюду прижали, —  
 Ласковые стали, прибежали,  
 В армию зовут — хоть в немецкую, хоть в РОА.  
 Да' ть на своих рука ли поднимется, а?  
 Искали, как полегче на эту сторону.  
 — Ну, — я в упор им. — Ну?  
 Деньги-то есть? — Да тысяч со-сто.  
 — Документы? — Исправны. — Куда как просто.  
 Значит, с концами?  
 Головы дурьи, о чём же мы с вами?  
 С немцами не расчёлся? Иди воюй.  
 А никому не должен — живи, не горюй.  
 Я вас не знаю, беседы мы не вели,  
 Обогрелись часок — и ушли. —  
 Поглядываю на гостей — молчат.  
 В землю глядят.  
 — Не-ет, мужички, власти — всегда они власти,  
 Хорошá не жди от них, жди напасти.  
 Сажали их — думали, будут свежи,  
 А они всё те же.  
 Старый ворон мимо не каркнет:  
 Бумажёнки вам выпишут без помарки,  
 Поставят печать —  
 И пошлют сосны считать.  
 И не станут с вами миловаться,  
 Что доброй волей вы пришли сдаваться.  
 По саже хоть гладь, хоть бей —  
 Всё будешь чёрен от ей.  
 В Восемнадцатом, как я в армии был,  
 Две недели, привелось, в ЧК служил.

Городскую барышню вели одна,  
В тонком платьи, статная, в кудерьках голова.  
Помню — гордо себя держала  
И не трусила их нисколько.  
— Эх, говорит, деревенский тюлень,  
Вспомнишь ты когда-нибудь этот день!  
А как дошло до расстрела —  
Тринадцатилетняя запела...  
Они потому и верховодят,  
Что сами своих под пули подводят.  
Так, думаешь, вас пощадят?  
Навряд...

Долго молчали. Потом Степан  
Через верх налил, выпил стакан,  
Глянул на всех, тряхнул головой:  
— За добро слово спасибо, родной.  
Знаем, натканы столбы да вышки.  
В бор — не по группам, по словы шишки.  
Только чем нынче гадать-раскидаться,  
Нам бы *оттуда* да дальше податься,  
Зажить бы в сытё да в тепле,  
Да забыть бы о нашей растреклятой земле.  
Бьёшь по башке себя — эх, ты, уродина!  
Что тебя тянет, дурного, на родину?  
Ну, сил не стаёт, как с востока ветер!  
Где б я такую вот девушку встретил?  
(Я глядь, а уж Танька с полатей спорхнула,  
Шею косынкой цветной обернула,  
Румяна, скромна, сидит в уголку, елоза,  
И опустила глаза.)  
— Жил я всегда, как свеча на ветру.  
Так и живу. Так и умру.  
В плен меня сдал генерал,  
А патроны я все расстрелял.  
На фронт пошлют — спасибо скажу,  
В лагерь отправят — кости сложу.  
Поздно нам думать. Нет нам возврата.  
А и всего-то приходится по шкуре с брата. —  
Да... Вышили мы ещё самогону,  
Побрёл я в правление к телефону.  
И так-то было мне тяжело в ту пору:  
До чего ж ты, думаю, дожил, Кузьма Егоров?  
Ты ли, думаю, острослов,  
Да не нашёл им слов?  
Они с налёту берут, в горячах,  
А у тебя полвека на плечах.  
А с твоими сынами да то же будет?  
Эх, ты, Иуда...  
Позвонил, однако. Воротился — а уж эти двоёчкой  
В сторонке уселись, у печки.  
Спать, гоню её, спать, Танька.  
Так-то взмолилась: — Останусь, папанька! —  
Расцвела — не узнать, не видал я её такой.  
Оглянулся на мать — махнул рукой.  
Сидят они себе вдвоём,  
А я — с теми ребятами, за столом,  
Знай, подливаем,  
Тоску заливаем.  
Лакомства навалено, а стоит кусок  
Поперёк.  
Рассказали они мне про Европу довольно.  
Слышать мне было их — во как больно:

— Посравнили мы, батя, посравнили вочью  
 Ихнюю жизнь и жизнь свою.  
 Пока под чужой крышей не побываешь,  
 Где своя течёт — не узнаешь.  
 — Вот, говорю, понимай, спина,  
 Во-де-ка, во-де твоя вина. —  
 Распахнулись душой молоденьки,  
 Да как посыпали деньги  
 Пачками, пачками на стол:  
 Возьми, говорят, старик за ласку!  
 А я, отвечаю, ласку не продаю,  
 Ласку добрым людям даром даю.  
 Не сердись, уговаривают, ништо.  
 Нам-то она, деньжура, на что?  
 Чем зря отдавать — у тебя пусть уж.  
 Сбережёшь — на доброе дело пустишь.  
 Я — не хотел. За что не доплатишь — того не доносишь.  
 Ну, тогда, мол, сожжёшь или бросишь.  
 Взяли себе долю — чтоб была им вера,  
 Остатние я насыпал в меру  
 И унёс в сарай под солому.  
 Слышу — шеберстят вокруг дома.  
 Воротился. Ну, ребята, прощайте,  
 Лихом не поминайте,  
 Допивайте, что не допили.  
 Двор-то уже оцепили.  
 Выпил Степан последнюю кружку,  
 Обнял мою Танюшку,  
 А она от меня не скрывается,  
 Тут же к нему ласкается:  
 — Стёпа! Что они пришли? Что им от нас надо?  
 Он ей: — Голубка моя! Привада!  
 Годочек-то, может, сождёшь?  
 А уж коль ни вестей.  
 Ни костей,  
 Тогда и замуж пойдёшь?  
 Я молчу, да подумал: Годок! Грехи!  
 Не знаешь, Степан, почём в войну женихи...  
 Это — себе. А им: — Хватит!  
 Степан, выходи! А ты — на полати! —  
 Там уж без баб в сенях  
 Я его обнял напоследях:  
 — Дай тебе Бог неглубоко нырнуть,  
 Дочку ж мою — забудь.  
 Зять бы хорош ты мне был по всему,  
 Только не на год идёшь в тюрьму.  
  
 Вывел на улицу всех троих,  
 Стали, стоим у ворот моих.  
 И видим, как густо в снег повалён  
 Истребительный батальон.  
 Степан рассмеялся: — Стреляй, как ворон!  
 Эй, запечная рать!  
 Кой вас дурак учил воевать?  
 Подходи, не бось! — Не слушают.  
 Кричат: — Сдавайся! Бросай оружие!  
 — Сколько ж раз вам сдаваться, в бабушку и в мать?  
 Подъезжай с возом, кто будет оружие принимать!  
 Вышли какие-то мальчуганы,  
 Отдали им мои ребята наганы.  
 Подошёл из милиции чин,  
 С ним несколько мужчин.  
 — Не рано вылезли, вояки? Эх, жалко отдать!

Всю б войну вам, навозникам, не видать  
Пистолета такого в районе. —  
И протягива'т махонький, на ладони.  
Отдал последний — со снегу хлынули,  
На шею каждому петлю накинули,  
За спину руки скрутили верёвкой,  
Уткнули в спину по две винтовки,  
На каждого подогнали сани,  
Сели они сами,  
И их увезли...

Ветер креп. Над нашей головой  
Раздавался шорох ветвяной.  
— «И что слышал я в ту ночь от ребят —  
Никомушеньки-никому. Такой у нас расклад:  
Бьют — и плакать не велят».  
— «Дядь Кузьма, а за что ж ты сел?»  
— «Хо-х, мил человек, молчи!  
Рядил медведь корову поставлять харчи,  
Да чтоб за неустойку самоё не съел?  
Как же б эт' я не сел?  
Тому ли, что сел я, — дивиться?  
Ты б попробовал годок прокрутиться!  
Да' ть, во всех райкомах я на колени ставлен,  
Да' ть всеми псами я травлен.  
Как до войны — это б ещё шутём,  
Вот пото-ом! —  
Война началась! — вот где Кузьма пляши! —  
Лошадей нет, мужиков ни души,  
На коровах да на бабах паши,  
Сена до ноября не докосишься,  
Тракторов не допросишься,  
Хлеб молотим зимой,  
Каждая тащит в подоле домой,  
Ржи на трудодень по сту грамм,  
На работу не выгонишь, сидят по домам,  
Бабы ноют,  
Дети воют,  
Работать семь дней на дядю, спать на себя,  
Из района теребят:  
Поставки, обозы,  
Да почему поздно,  
Планы, задания,  
Прибыть на заседание!  
Дня от ночи не знаешь,  
В десять концов гоняешь, —  
Поросёнка в Заготлес,  
Самогону в МТС,  
Секретарю райкома — бочку мёду,  
Прокурору — яиц подводу,  
В Нарсуд — кур, в Райфо — сала,  
Да почему мало? —  
Волком захохочешь!  
Как не споткнуться! Чего ты хочешь!  
Был на меня давно донос,  
Но цел бы ходил — прокурора обнёс! —  
Вспылил, не подмазал в какой-то безделке,  
Вот и пришлось к разделке.  
На суде прокурор же,  
Что яиц перебрав, — и плакал всех горше:  
“Народное имущество... Священная кроха...  
Кулыбышев должён был...” — Довольно, кричу, брехать!  
Были должны, да долг заплатили! Пихайте в клетку!

Трепотня мне ваша за тридцать лет, как собаке редька».  
— «А на что донос?..» — «Да вишь, середь этих я дел  
Так затурился, да так очадел,  
Меня кнутом, я кнутом,  
А что к чему — разберёмся потом.  
В своём-то зубу досадчива боль,  
А за чужой щекой не болит нисколько.  
Только раз возвращаюсь с одного такого заседаньица,  
Зашёл за чем-то к макаровой племяннице.  
Помер муж у ней до войны, а и был-то пьяница.  
Сидят — на полу. Изба топится чуть не по-чёрному.  
И кабыть что меня на пороге дёрнуло,  
Ну бы вот, торкнуло в лоб —  
Сто-оп!  
Сказать мне им что-то — а не могу.  
Вышел на волю, стал на снегу.  
Кузьма, Кузьма! Пёс ты, пёс!  
Криво ж ты, старый душляка, рос!  
В голове это мелется, мелется...  
Сам не пойму, что за думка шевелится.  
Пробродил эт' я так до темна как шальной, —  
Пришёл домой.  
Дочка в городе. Жена за машиной, — шьёт.  
Духом мясным из печи несёт.  
Два сундука. Довольно добра.  
Не снеговая вода с серебра.  
Шкап зеркальный. И в шкапу — нажито.  
Подхватилась жена — видит, что-то не то.  
Так и так, мол, девка. Хочу идти на преступление.  
Прошу твоего благословения.  
Рассказывать нечего, всё тебе, умнице, ведомо.  
Порвать хочу раздаточную ведомость,  
Да людям по новой раздать за летошние трудовни.  
Ой, до весны не доживут они.  
Знаю, злонаходчивы теперь люди живут.  
Чо там на меня? На себя на самих донесут.  
Но и глаза воротить мне дале невмочь.  
Надо помочь.  
Да... Затеребила она край платка,  
Посмотрела на меня эдак изглубока...  
А ведь знаю я её, вот как знаю!  
Гляну в лицо — вижу, какой была молодая,  
Встретясь, краснела маково...  
Заплакала.  
— Ладно, парень, похлебай-ка шей.  
Утро вечера мудреней.  
Лампу задула, зажгла лампаду перед Богородицей.  
Молится.  
Лежу — перебираю. Дочка-невеста в соку.  
Что мне взбрело, дураку?  
Сыновья глядят со стены.  
Воротятся ль ещё с войны?  
За мою семью, если придётся,  
В тюрьму никто не пойдёт, небось.  
Нет уж, пускай живётся  
Как жилось.  
Лампада горела-горела, погасла —  
Кончилось масло.  
Сна — ни в глазу. Как у чужих людей ночью.  
Таракан во тьме усами поведёт — чую.  
Вот уж за полночь с печи моя старуха  
Тихо так говорит, вполслуха:  
— Спишь, Кузьма? — Я прохватился, к ней:

— Не спю, не!  
— Не жди, говорит, моего бабьего совету:  
У нас, у баб, друг к другу жалости нету —  
Ты да дети, всего у меня свету.  
Помнишь, убили у нас в Ямуровке пристава?  
Дядя Андрей не стрелял, — а взял на себя все выстрелы.  
Пошёл на каторгу — три семьи высторонил,  
Средь других и отца моего.  
Как б эт' и нам научиться таково,  
Чтоб и жить легко и умирать легко?..»

«Умирать, конечно, не находка...»  
«Умирать бы ладно. Оставляя детей...»  
— Э-эй!  
Эй-э-эй!  
За во-одкой! —  
Звонко прокатилось в тишине,  
Отдаваясь гулками ответами:  
— Командиры отделений! к старшине!  
За конфетами!  
...С треском по лесу метнулись толпы теней,  
Сотни промелькнули спин —  
И смело людей, как будто их и не было.  
И сгустилась темень.  
И остался я один  
У едва светящегося пепла.  
«Вот!.. В золе забыли горсточку картофеля,  
Бросились за горсточкой конфет...»  
Вздрогнул я. Улыбку Мефистофеля  
Вырывал из тьмы почти погасший свет.  
«Презирая, — вслед им побреду я  
С малярной дрожью слабых ног, —  
Ибо тоже жаден, тоже претендую  
В свой иссохший кубок получить глоток.  
*Повторяется, бездарная. Убого. Примитивно.*  
И каких ещё болванов удивит она?..  
До чего, коллега, жить противно,  
Когда всё написано и всё прочитано».  
Зябко кутаясь, с колена встал он осторожно.  
Встал и я. Мы выровнялись ростом.  
Было мне с ним то ли слишком сложно,  
То ли слишком просто.  
Он приблизился ко мне дыханием в дыханье:  
«Ну, признайтесь, вам не повезло?!  
На заём подписываться. Перевыполнять задания.  
Ждать, что *выбросят* повидла лишнее кило.  
Воротившись с бляшками с войны,  
Краткий Курс зубрить до седины, —  
Кислó,  
Сами видите!  
Капитан! Ровесник! Позавидуйте!  
В этой жизни ни к чему не годный,  
И в неё не собираясь снова,  
Я живу последний день сегодня  
С полною свободой слова!  
Вы — растроганы? Оставьте. Чепуха!  
Ни меня, усталого еврея,  
Ни мальчишки этого, ни Любки жениха  
На гранитных набережных Шпрее  
Не помянете в сверкании шеломов  
Над Европой, подведённой как ягнёнок к алтарю.  
Только будет ваш среди победных громов  
Гимн: хрю-хрю».

— «Почему так плохо обо мне вы судите?»  
— «Потому что — человек вы. Дерзко? Рассердитесь.  
Ну, а если вы таким *не* будете —  
Берегитесь!  
Любопытство к смертникам у вас *не наше*,  
Не советское, нейдёт к погонам и звездам.  
Берегитесь, как бы *этой* чаши  
Не испить и вам!  
Не лишиться б гордого покоя,  
Не узнать бы, что оно такое —  
В шаг квадратный, весь из камня *бокс*.  
Наслаждайтесь, если можете, желаю вам удачи.  
Впрочем, все подохнем, так или иначе —  
*Omnes una atra manet nox!*»<sup>\*</sup>

---

<sup>\*</sup> Всех одна и та же тёмная ждёт ночь (*лат.*).

\* \* \*

Пусть бьются строки — не шепни.  
Пусть колотятся — а ты губой не шевельни.  
Не вспыхни взглядом при другом.  
И ни при ком, и ни при ком  
Не проведи карандашом:  
Из всех углов следит за мной тюрьма.  
*Не дай мне Бог сойти с ума!*  
Я резвых не писал стихов для развлечения,  
Ни — от избытка сил,  
Не с озорства сквозь обыски в мозгу их пронесил —  
Купил я дорого стихов свободное течение,  
Права поэта я жестоко оплатил! —  
Всю молодость свою мне отдавшей бесплодно  
Жены десятилетним одиночеством холодным,  
Непрозвучавшим кликом неродившихся детей,  
В труде голодном смертью матери моей,  
Безумьем боксов следственных, полночными допросами,  
Карьера глиняного рыжей жижей осени,  
Безмолвной, скрытой, медлительной огранкой  
Зимой на кладке каменной и летом у вагранки —  
Да если б это вся цена моих стихов!  
Но тоже и за них платили жизнью те,  
Кто в рёве моря заморён в молчаньи Соловков,  
Бессудно в ночь полярную убит на Воркуте.  
Любовь, и гнев, и жалобы расстрелянные их  
В моей груди скрестились, чтобы высечь  
Вот этой повести немстительной печальный стих,  
Вот этих строк неёмких горстку тысяч.  
Убогий труд мой! По плечу тебе цена?  
Одной единой жизни — ты пойдёшь в уплату?  
Который век уже моя страна  
Счастливым смехом женщин так бедна,  
Рыданьями поэтов так богата?..  
Стихи, стихи! — за всё, утерянное нами,  
Накап смолы душистой в срубленном лесу!..  
Но ими жив сегодня я! Стихами, как крылами  
Сквозь тюрьмы тело слабое несу.  
Когда-нибудь в далёкой тёмной ссылке  
Дождусь, освобожу измученную память —  
Бумагою, берёстою, в засмоленной бутылке  
Укрою повесть под хвою, под снега заметь.  
Но если раньше хлеб отравленный дадут?  
Но если раньше разум мой задёрнет тьма?  
Пусть — там умру, не дай погибнуть тут! —  
*Не дай мне Бог сойти с ума!!*

КАК ЭТО ТКЁТСЯ

*И ужели нет пути иного,  
Где бы мог пройти я, не губя  
Ни надежд, ни счастья, ни былого,  
Ни коня, ни самого себя?*

Ив. Бунин

Кабель неприметною полоскою,  
Выведен, подброшен на сосне.  
Ремиорный мягкий вальс Чайковского  
Невидимкой льётся в тишине.  
Наверху — безлюдие обманное,  
Замело тропинки и полянки,  
Здесь — уют, и запахи смоляные  
Поят воздух обжитой землянки.  
Свежим ворохом — постель еловая,  
Троеножка-печь раскалена,  
Лампочка двенадцативольтовая  
Над столом спускается с бревна.  
Радио-шкатулка под столешницей  
Скрыта от недружеского взора —  
Маленькая хитренькая грешница,  
Говорунья и певунья «Нора».  
Гость непрощенный уйдёт — не глядя я  
Под столом привычной кнопкой — щёлк! —  
Всех воюющих народов радио  
Хлынет вперемесь сквозь синий шёлк.  
Звуки струн рояльных...  
Но унылое  
На столе письмо передо мной —  
От тебя, затерянная, милая.  
Что за трещина у нас с тобой?  
Чувствуешь — спустился мутный навешень,  
Отчего — не знаешь ты сама.  
Это — ты бежишь, бежишь ко мне по клавишам,  
Чтобы в треугольнике письма,  
Посылаемого так уже не почасту, —  
Рассказать о нуждах тыловых, об одиночестве  
Далеко, за чёрной пеной Каспия,  
За барханами песка...  
Было счастье? не было у нас его?  
Только чудится издалека?  
Здесь, на фронте, нам лениво верится  
В мрачную ожесточённость тыла.

Победим — вернёмся — переменится —  
 Всё по-нашему, не так, как было.  
 Фронтовой мудростью растимое  
 Превосходство над заботой дня...  
 Мне вот чудится, моя любимая,  
 Что с пути уведишь ты меня.  
 А ведь я ещё не сделал столького!  
 Не написаны мои страницы.  
 Я ношу в себе заряд историка  
 И обязанности очевидца.  
 Всё рояль... И в каждом звуке слышится  
 Мне твоя любимая рука.  
 Написать...  
 да что-то мне не пишется,  
 Только чувство льёт изглубока.  
 Размягчел — а не найти достойного  
 Выражения литого мысли.  
 Рычажок — Европа беспокойная  
 Мечется от Мозеля до Вислы!  
 Завтра утром запыхает заревом,  
 Нынче притаилась под землёй.  
 Ручкой лакированной на Нареве  
 Поворачиваю шар земной.  
 Всё многоголосей к полуночи  
 Станций обезумевших прилив:  
 Сводки сыпят, объяснения бормочут,  
 Салютуют, маршируют и пророчат,  
 Торжествуя и грозя наперебив.  
 Только б одолеть! И, ложью ложь поправ,  
 О, какими доводами стройными  
 В кратком перерыве между войнами  
 Победитель будет чист и прав.  
 Вражий огонёк! — топчи его, где теплится,  
 В переходах вековых потёмок.  
 Вот, и речь последнюю рождественскую Геббельса  
 Где услышишь ты потом, потомок?  
 Описали нам газетчики, советские и янки,  
 Гадкую хромую обезьянку, —  
 Да, награбили, нажгли, набили по нутру, —  
 И однако голос чей звучит, в зажатой скорби,  
 К очагам осиротелым в тяжкую пору? —  
 Как он не похож на тот слезливый бормот  
*Третьего июля* поутру.  
 ...Дальше ручку! Затаёнными ночью —  
 Поворот. От незванных сумев обезопаситься —  
 Вот и вы! — враги мои,  
 Соотечественники мои —  
 Власовцы...  
 Знаю я, что вы — обречены.  
 Ни отчизны вам, ни чести, ни покоя...  
 Чем же живы? чем увлечены?  
 Сколько вас? и что же вы такое?  
 Боже мой! Какой обидный жребий!  
 Где? в какой глубине вы гордость бережёте?  
 Ваш поручик младше, чем у них фельдфебель,  
 И в бою не верят вам крупней, чем роте.  
 Лишь теперь, когда пошло о жизни,  
 Когда шея в петлевом захлесте,  
 Разрешили вам немножечко дивизий  
 И в каком-то -бурге сняли с русских *ost'ы*.  
 Чтоб верней сгубить себя и вас,  
 Немцы в русскую войну не проминули шагу.  
 То-то времячко! Как раз сейчас

Время вам съезжаться в Прагу!..  
И транслировать из замкового зала,  
Как ослабился ваш вождь и что сказал он,  
Как приезжий зондер-фюрер — то-то славно! —  
Вас назвал союзниками *равно!*  
Оркестровый гимн, не исполнявшийся дотоле,  
И в него заплетено злопамятной судьбой:  
    «За землю, за волю,  
    За лучшую долю  
    Готовы на смертный бой».  
Что же вас заставило?.. Как обернулось с вами?..  
И стучит в рассеяньи костяшками рука, —  
«Что ж тебя заставило связаться с лягашами,  
И штттить работать в губЧЕКА?»

---

Без шинели, только шапку на бок,  
Подымаюсь в мутно-белый лес.  
Линии — лучами, как к большому штабу,  
Сходятся к моей ЦС\* , —  
Парно, в одиночку, верхом, по низам, —  
    Все сюда.  
Щедрый снег роскошно обнизал  
Прутья, сучья, ветви, провода.  
Снежной бахромой — мохнатые подвески,  
Лапы елей со снегом в тяжёлом тёмном блеске,  
Шапочки на пнях, повал на блиндажи —  
    Снежным хребетком увитые кряжи.  
Вот сейчас из зарослей, из частой снежной сети,  
    Улыбаясь, выйдет добрый белый гном...  
    Доживём ли, что и наши, наши дети  
Сядут сказку слушать перед розовым огнём?  
У Пултуска круглые, бордовые, как вишни,  
Струйкою трассирующие плывут в зенит,  
Словно с неба кто-то медленно-неслышно  
    Ожерелья втягивает нить.  
Чёртова заутреня начнётся спозаранку —  
    Спит зима, чужда движенья всякого.  
    Рывкнет самоходка из-под Макува,  
    Не взорвавшись, провизжит болванка,  
    Батарея яростным налётом протолчёт, —  
    Хорошо! своё на карте место обозначит! —  
Прошипит *десятиствольный*, да *скрипун* прокрячет, —  
    И опять молчок.  
Тихо-тихо по шоссе идут сквозь лес без фар  
    Груженные «студебеккеры».  
Шутка ли? — три армии стянули на удар,  
Все готовы, спрятались, — и встретить даже некого!  
То ли было? До прорыва месяца не спать,  
Офицеры в загонях, в поту солдаттики, —  
    Научился *рус* «культурно воевать»,  
    Научился воевать-таки!  
А копали? Век солдатский короток —  
Тяп да ляп. Но вот уж и с лопатой сжились.  
    В аккуратный ровный городок  
    Наши блиндажи сложились.  
    Из-под снежного навала их горбы  
    Холмиками выступают,  
Да с огнистым треском искры вылетают  
    Там и здесь из жестяной трубы.

---

\* Центральная станция.

«Встать!» — «Сидите, мальчики».  
 Блиндаж — ни места лишнего.  
 Но, по-корабельному, — всему своё местечко.  
 Пахнут ломти хлеба подрумяненного. Вишнево  
 Накалилась и погуживает печка.  
 Воронёные вольтметры. Пульт под лаком.  
 Камертон, в серебряную дрожь размытый.  
 Капилляры-пёрышки стеклянные, шеллаком  
 Впаяны в колечки электромагнитов.  
 Всею округи шорохи, движения и шумы  
 На бумажной ленте спутались клубком.  
 Дешифровщик Липников откинулся в раздумьи  
 И решенья ищет карандашным остриём.  
 У прибора — деловитый Губкин.  
 Балагур Евлашин, на уши по трубке,  
 У центрального щитка и коммутатора.  
 Из других частей телефонистов пятеро.  
 Наши подмостились на скамейках, на колоде,  
 Гости — на полу, едва не на проходе.  
 Я вошёл — читал Евлашин что-то,  
 Трубок клапаны прижав, зараз шести постам.  
 На центральной — свет, пестро, то шутки, то работа —  
 Не взгрустнётся здесь. А там  
 Спят в землянке, лишь один дежурит потемну,  
 Лезут думки разные про жизнь, да про жену...  
 «Нашу почитал бы!» — «Нашу? Ну, лады.  
 Всем постам вниманье! Слушайте сюды!»  
 Он читает худо, с перепином,  
 Скачет через точки сгоряча,  
 Но какой-то силою склонило спины  
 И солдаты слушают, молча.  
 То расширя светло-карие, то их прищуря,  
 По линейке тихо двигая визир,  
 С чутким трепетом ноздрей Илюша Турич  
 Слушает «Войну и мир».  
 Он всегда в сторонке. Он не комсомолец.  
 Безучастлив к спорам, к дележам, молчит.  
 В знойный день бывает так колодец  
 Чист, глубок, до времени укрыт.  
 Но рони я слово не казённо, не уставно, —  
 Будто что-то у него всплеснётся в глубине, —  
 Заблестит взволнованный, открытый мне.  
 В батарею он моею недавно,  
 Но моим любимцем стал втайне.  
 Над планшетом, ватманом молочным  
 С голубою сетью тонких линий, —  
 Удивительно какой-то непорочный  
 И глазами изголуба-синий,  
 Замер, слушает, но с циркулем на перевесе  
 Ждёт отсчёты отложить, секунды не потеряя,  
 Круглолицый, розовый, старательный  
 Вячеслав Косичкин — Чеся.  
 «Что Евлашин там? Опять небось — Толстого?»  
 —«Да-к, товарищ капитан, ну до чего ж толково!  
 Все поряdochки армейские!» — «А, смотр в Браунау!..  
 Да. Толстой умел копнуть в толщу.  
 Погоди-ка, погоди-ка, я вам  
 Тоже, кажется, местечко разыщу.  
 Эт-то вам не святцы Александра Невского.  
 Кто не лопухий — тот поймёт как раз.  
 Вот. Уйду — прочти-ка им рассказ  
 Здржинского о подвиге Раевского».

Выстрел!.. Выстрел!.. Пролетели самолёты,  
Где не в пору взялись?  
Мазанули запись...  
Нет уж, Лишников — рукой неверной  
Цель неясную не бросит на планшет.  
Сухостью и хваткой инженерной,  
Доконечным, только точным знаньем, —  
Чем-то, в чём-то будит он во мне воспоминанья  
Детских благодарных лет.  
Весь — гражданский он. Выискивает в ленте.  
Сорок лет ему. В сержанты мной произведён.  
Далеко, в затолканном, в затисканном Ташкенте  
Одинокую жену оставил он.  
Пишет: «Получила семьдесят твоих рублей,  
И купила тазик ржи немолотой.  
Помнишь ли недуг, каким страдал Чарлей?»  
(А Чарлей-собачка умер с голоду.)  
«Двинем, мальчики!» Визир шкалы логарифмической  
Турича ведёт изящная рука.  
Турич родился от ссыльной политической  
И от правдолюбца-мужика.  
Был отец его и ходоком в Москву.  
Ратовал за власть Советов поперву.  
Но потом его не угодила мерке,  
На крестьянской сходке власть он обругал,  
Закатился с Сожа на Урал  
И женился там на высланной эсерке.  
Сиротой оставшись семилетним мальцем,  
Почерпнул Илюша незаёмных мыслей.  
Стёклышко уставив осторожным пальцем,  
Турич вслух читает Чесе числа.  
Чеса ловит числа не дыша,  
Не мутя дыханьем глади угломера —  
В этот миг в планшете вся его душа  
И в растворе циркуля вся вера.  
Отложить, потом соединить,  
Три прямых должны б ударить в точку.  
Гордость фирмы в том, чтоб не успели позвонить:  
«Слышите? Стреляли из лесочка!  
Спите? Нержина! Снаряды тут рвались  
В двух шагах от нас!» — с достоинством на выкрик:  
«Да давно готово, получите. Икс...  
Игрек...»  
...Чеса, как? Не в точку? Треугольник?..  
Жаль... Так двести третья цель — пока что не покойник...  
Подождём повтора, может даст по-новой.  
Мне — звонок. Ячменников, с поста передового.

Лейтенант Ячменников командует линейным взводом.  
Лих в бою, на переправах, в марше и в разведке.  
Он — крестьянский сын, пред сорок первым годом  
Кончивший десятилетку.  
У него простое русское обличье —  
Белый вихор, взгляд прямой и нос, широкий книзу,  
Немудрёные манеры, ласковый обычай.  
Всю войну мы с ним, и очень он мне близок.  
Дважды в день мы с ним по своду древних правил  
Не клонясь, из котелка *таскаем* не спеша.  
Свой рассказ о нём я б озаглавил:  
«Русская душа».  
Знал он госхлебопоставки, нищий свой колхоз,

Добровольность займов, цену трудодня. —  
 Знал, — и тут же веровал всерьёз,  
 Что у русских на сердце особая броня,  
 Что душой особою владеет наш Иван,  
 Что венец искусства лётчика — таран,  
 И что «тигры» гибнут от бутылок.  
 Верил он, что у врага — разруха тыла,  
 А у нас — неисчислимы резервы,  
 Что фашисты — безыдейные наёмники и кнехты,  
 Что добьёт их, голеньких, мороз наш первый,  
 Что моторы станут их, что им не хватит нефти.  
 Пишут — стал' быть, правда. Истине противное,  
 Будь оно хоть трижды прогрессивное, —  
 Кто ж решится написать? Не допускал он мысли.  
 Спорили в училище. Доказывал: «Так ысли  
 Разожгёт меня — я и на ДОТ, а что тут дивного?»  
 Но узнав противника, что есть он умный немец,  
 А не эренбургский придурковатый фриц,  
 Добродушный володимерский туземец  
 Стал не жаловать передовиц.  
 Синтетический бензин немецкий в порошке  
 Подержал раздумчиво в руке, —  
 Ни полслова больше о ресурсах,  
 Стал читать газетки реже, мене —  
 Памятные, горестные курсы  
 Фронтовых необратимых изменений...  
 Но — и всё. А при других не замутится взгляд,  
 Не обмолвится о мыслях, не дошедших до назреву, —  
 Лейтенант Ячменников ведёт своих солдат  
 С лаской, с твёрдостью, без гнева.  
 Суд да лад, пока там делу течь,  
 А у нас давно с ним понято в пути:  
 «Надо, Виктор, нам солдат беречь».  
 — «Надобно, таащ комбат, солдатов беречь».  
 Сразу никогда не выполнит приказа,  
 А сперва его с песочком перетрёт —  
 Понято: «душа»-то русская — красивенькая фраза,  
 А на фронте — серенький в обмоточках народ,  
 Против книг на фронте всё наоборот.

«Виктор, ты? Ну, что там слышно-видно?»  
 — «Так, ракеты, пулемёты, всё по мелочам.  
 Ну, натянуто и у него солидно,  
 Двигается по ночам».  
 — «Я звонил тебе, ты где был?» — «Тут один сапёр...  
 Был у нас забавный разговор».  
 — «Что же он?» — «Да тоже работёнка...»  
 — «Офицер?» — «Сержант. Но знает дело тонко.  
 Ну, не всё по телефону... Ну, намёк —  
 Добрым молодцам урок.  
 В общем, гонят их для завтрашней пехоты  
 Мины поснимать, открыть проходы.  
 От ракет — как днём. Убийство. Где же проползть им  
 Под колючку самую? Всё видит немчура.  
 — Не вернёшься! — Ворочусь.  
 — Да как же? — Очень просто.  
 За секрет поставьте полведра.  
 — Сами бедствуем. — Ну, ин и так.  
 Видишь, говорит, читал я умную статью.  
 Хоть писал её полковник, но дурак  
 Он на простоту мою.  
 Пишет, мол и мол, что оттого теперя  
 Наши уменьшаются потери,



Трижды с осени партторги, комиссары  
 Собирали, толковали, заставляли выступать,  
 Заводили как святыню батарейную тетрадь  
 «Счёт врагу» — и цену пролитых и выдуманных слёз  
 Вы туда вносили собственной рукой.  
 Сомин: «У меня, товарищ капитан, вопрос».  
 — «Да. Какой?»  
 — «Остаётся в силе, что во вражеской стране  
 Мы расплатимся с фашистами до корки?»  
 — «Видишь ли... вопрос, по сути, не ко мне,  
 А... к партторгу».  
 Старшина Хмельков — таким талантам рады  
 Командиры — плут и быстроглаз, на сделки — леопард,  
 Артистически обманывает склады  
 На американскую тушёнку и на лярд,  
 И бензин достанет, и ботинки спишет,  
 Плексигласу тяннет и припрячет хром, —  
 Век такой партийный! — выбран выше —  
 Парторганизатором, духовным главарём.  
 Неохотно кашлянул, скосился. Я — ни бровью.  
 Чёрт ли? — думает, — ну, кто в себе уверен?  
 «Приезжали ж... Разъясняли ж... только кровью  
 Мы расплатимся с фашистским зверем».  
 Кто-то хочет что-то, перебив,  
 Но Хмельков уже долбит с авторитетом:  
 «За непоступленьем новых директив,  
 Руководствоваться — этой!»  
 Этой? И тотчас же с радостной ухмылкой  
 Тянется Евлашин: «А посылки?»  
 А с посылочками как, товарищ капитан?  
 Остаётся в силе?  
 Эх, сестрёнки бы мои мадепалан  
 Всей деревне на завидки поносили!»  
 Да. Объявлено. Подписан вексель,  
 Что Победу можно отоваривать.  
 Юноши поводливые! Легче ль  
 Оттого мне с вами разговаривать?  
 «Как с посылками? Ведь ты ж ещё не там.  
 До границ германских ты ещё дотопай».  
 — «А дойдём?» — «Так шлите по пять килограмм,  
 Но стесняйтесь, братцы, пред Европой! —  
 Выбирайте с толком, не тащите ружьядь,  
 Да берите незаметно, аккуратно, умно...»  
 — «Ну, товарищ капитан, ну — как? Ну, скажем, — туфли?  
 И опять же, скажемте, — отрез костюмный?»  
 Губкин: «А приёмник можно?» — «Вообще-то можно...  
 Хрен его... а может и нельзя?..  
 Поживём-увидим. Наперёд-то сложно.  
 Спустят нам инструкций тысячу, друзья...»

Турич — у меня. Ух, печка-то, чертяка,  
 Прогорела, на тебе поленце!  
 Хватит, нарубили лесу у поляков,  
 Скоро, брат, нарубим дров у немцев.  
 Смуглый жар под пухом щёки золотит.  
 Током, бьющимся под кожей, налит  
 Лоб обтянутый, бороздкой первую просечен.  
 Он — не юн уже. Таких — не гнали с веча.  
 «Хорошо, что ты пришёл. Не всё же быть нам вместе.  
 Может быть, расстанемся, сказать и не успеется:  
 Турич! Пронеси сознание гордости и чести  
 Перед европейцами.  
 Помни, что в Европе растревоженной,

Где не так уж часто русские гостят,  
Каждый наш поступок, в тысячах размноженный,  
Как легенда станет. Нам простят,  
Нам простили бы наш нищий вид наружный,  
Локти драные, обмотки прелые,  
Если б мы прошли как гордые, как зрелые  
Сыновья страны великодушной.  
Если б сдержанно прошли мы сквозь Европу,  
Не прося подачек на убогость нашу,  
Если б наш рязанский недотёпа  
Ванечка Евлашин  
Дать понять союзникам бы мог  
А *proros*, меж тостов двух за столиком,  
Что из многих путаных дорог  
Мы нашли свою ценой ошибок стольких.  
Что жалеть не надо нас, что всё нам ведомо,  
Что — сердца, порывы, души вскладчину, —  
Этой самой раскалённой Победою,  
Воротясь домой, мы выжжем азиатчину.  
Вот о чём я думаю — надменным, сытым, им  
Хоть бы изредка, хоть искрами, но показать,  
Что Россию, даже прокажённую, — чужим  
Мы не разрешаем презирать.  
Но ведь он не сможет, даже если  
Этому всему его я научу.  
Да и как учить? Во многом сам на перекрестьи,  
Сам не знаю я, чего хочу...  
Родина зовёт своих солдат к победной мести...  
Пусть идут! И я иду... И я — молчу».  
«Как же можно так, товарищ капитан?  
Понимать! Иметь в руках оружие войны!  
И — не действовать? Зачем тогда нам разум дан?  
Для чего же — чувства нам даны?»  
— «Для чего?... Не знаю. Я — историк. Я хочу — понять.  
Понимать и действовать — несовместимо.  
Нет, не так! Готов бы я гранатами швырять —  
Если б только рассчитаться мне с самим собой:  
Этот путь у Революции — один? неумолимо?  
Или был — другой?..»

Вышел, удручённый... Как им объяснить,  
Что всегда так было, что от веку идёт  
Свойство памяти людской: всё прошлое хвалить,  
В настоящем лишь дурное видеть.  
Легче нет кричать: — Возьми его!  
Гарцовать, травить: — Ату!  
Но безмерно трудно выявить  
Доводов чеканных чистоту,  
В вековой клубящейся глубине  
Различить: *to be or not to be?*  
Как пред сфинксом, я стою пред государством,  
Водянистые глаза его не говорят:  
Убивать — или лечить? Реформы и лекарства —  
Или меч и яд?  
На столе — процесс Бухарина-Ягоды  
И четырнадцатый съезд ВКПб...  
Пролегли запутанные эти годы  
Тайным шрамом по моей судьбе  
И угрозой тайной: берегись!  
До чего живу я опрометчиво! —  
Вот войдут, откроют ящик из-под гаубичных гильз —  
Кончено! Добавить нечего!  
Книг!.. — запретных и допущенных,

больших и маленьких...  
Кто из них, поскольку и куда прав? —  
Холодно-жестокий Савинков?  
Ленин — изгоряча, иссуха шершав?  
Князь Кропоткин, снова нелегальный?  
Карл Радек, талмудист опальный?  
Пламенно пророческий Шульгин? —  
Страшно мне! И кажется: я в зале театральном,  
Я сижу один.  
Некому шептать, опаживаться, шаркать,  
Аплодировать и гневаться из кресельных рядов, —  
Зал пустынный пышен и суров.  
Раздвигается тяжёлый красный бархат,  
И актёры, вставши из гробов,  
Предо мной играют запрещённую в премьерке  
Дивную, неведомую пьесу, —  
Никого в амфитеатре, никого в партере,  
Не кольхнет шёлком по портъере  
И не скрипнет кресло.  
Надо всё запомнить — эти пантомимы,  
Эти тайны комнат, эти монологи, —  
Задыхаюсь и не знаю — выйду невредимым  
Или буду скошен на пороге.  
Вправду ль я один, или из Главной Ложи  
Эту пьесу смотрят тоже,  
И меня заметили, и на меня кивнули Смерти?..  
...Книгу, где читаю, раскрываю. Вложен  
Свёрток с почерком знакомым на конверте.  
Мой Андрей! Какое колдовство,  
Что на фронте трёхтысячевёрстном  
Под Орлом на Неручи я повстречал его,  
И с тех пор, как праздник, привелось нам —  
То заскачет он ко мне наверхове,  
То заеду я к нему на «опель-блитце», —  
Мысли-кони застоялые играют в голове,  
И спиртной туман слегка клубится.  
...Трупной гнилью на просёлках пахло,  
Избных пепелищ, пшеничных копен гарь...  
Так откуда ж снова радостная нахльнь  
Горячит нам грудь и голову, как встарь?  
Столько пройдено в немного лет,  
Столько видено и взято наизвед, —  
Но по-прежнему в какой-то точке круга —  
Книга, стол, и мы друг против друга, —  
Никого на свете больше нет.  
Пусть в патроне сплюсненном коптит фитиль,  
В двух верстах — трясенье на краю переднем,  
Ближе — сходимся — яснеем — и  
Запись отточённая о выводе последнем.  
Мой Андрей! Всегда с тобой мы будем  
Два орешка одного грозда.  
Что за диво — сходство наших судеб?  
Что за чудо — где бы и когда  
Мы ни встретились, как трудно, как не прямо  
Ни легли б за нами долгие пути, —  
До чего доходишь ты умом упрямым,  
До того чутьём измученным дойти  
Выпало и мне. Вот год с последней встречи,  
Раскружило, раскидало нас далече,  
Но держу письмо. Не только, что по шифру,  
По разбросанным, невинным цифрам,  
Где искать тебя, я вижу сразу, —  
Но язык письма условный

Как биенье жилки кровной  
Подбодряет одинокий разум.  
Пишешь: «Долго думал я и вижу, что Пахан  
Злою волею своей не столько уж ухудшил:  
Жребий был потянут, путь был дан  
И другого — мягче, лучше —  
Кажется, что не было. Какой садовник  
Вырастил бы яблоню из кости тёрна?  
Так что кто тут основной виновник, —  
Встретимся — обсудим. Спорно».  
Друг мой, друг! Твои слова тяжки.  
Если это так, то ведь отсюда мысль какая?!  
Ведь тогда!.. — и я рывком руки  
Одержимое перо макао:  
«Но тогда, снимая обвиненье с Пахана,  
Не возводим ли его на Вовку?» (сиречь — Ленина).  
«Коротко: а не была ль Она  
Если и не не нужна,  
То по меньшей мере преждевременна?..»  
Сколько жив — живу иных событий ради,  
У меня в ушах иного поколения набат!  
— Почему я не был в Петрограде  
Двадцать восемь лет тому назад?  
В грозный час, когда уже возница  
Горячил, чтоб трогать, я —  
Я бы бросился под колесницу,  
За ноги коней лова.  
«Кто здесь русский? стой!! — по праву смерти  
Я бы крикнул им из-под подков, —  
Семь раз семь сходите и проверьте —  
Путь каков?!  
Жили вы в Швейцариях — живали ли в народе?  
Вы — назад ли знаете, не то что — наперёд...  
Ваше солнышко красно восходит —  
Каково взойдёт?..»

Мысли обращаются в раздумьи невесёлом,  
Я пером по ходу их слежу, —  
Вдруг — ударом, вдруг — уколом  
Отдаётся в голову: пишу —  
Что? Безумцы! Что? В капкан  
Сами лезем головой горячей:  
Вовка, путь, обсудим, экономика, Пахан...  
Попадётся цензор не чурбан, —  
Как это прозрачно!  
И движенье первое — порвать!  
И второе — что уж! в этом роде  
Чуть не год приходится писать —  
Ничего, проходит.  
Наши хитроумные цидули  
Девочки цензурные ну где же разберут?  
Сколько пишем — не изъяли, не вернули, —  
Э! да что нам пули?! —  
Нас снаряды не берут!..  
Кончено. Заклеено. Последняя работа.  
Спать! Устал! Нет, будто что-то... что-то...  
Так и есть! Тяжёлыми томами,  
Всем, что на столе, привалены,  
Еле уловимыми духами  
Пахнут листики письма жены.  
Что-то я ответить ей обязан,  
Перед тем как замолчу на много дней.  
Но зачем, зачем не сразу,

Размягчённый, я ответил ей?..  
Сколько помню, я всегда таким был мужем:  
Мне хватало времени на всё —  
На науку, на друзей, на споры и на службу —  
Только не хватало для неё...  
Да взглядеться: и её наш прожитый годок —  
Не увлѣк.

Голову тяжѣлую склоняя  
И, бессильный выбрать лучшие из слов,  
Я пишу: «Письмо твоѣ, родная,  
Получил. Живу по-старому. Здоров».  
И конечно же, конечно нужно ей  
Одобренья, восхищенья поверх слов моих.  
А пишу: «Пока что новостей  
Никаких».

Ждѣт и просит нежно-задушевного,  
Надолго хранимого, не однодневного —  
В нём бе плоть и кровь моя! — письма, —  
Что писать?.. не приложу ума.  
Крут излом от фразы к фразе.  
И долит мне голову дрема.  
Ни счастливой лёгкости, ни связи  
Нет! И первое движение — порвать!  
И второе — лучшего не выйдет, Бог с ним.  
«Много надо мне тебе сказать,  
Да уж, видно, после...»  
Так в цепи мужских морочных дел  
Не теряю ли я в женщине и друга?..  
На сегодня я перегорел,  
А на завтра — огневая вьюга...

Стук. — «Да, да!» Передо мной  
От ходьбы румяный, свежий, —  
Автомат под плащ-палаткою, — из штаба посыльной,  
Обметѣнный пылью снежной.  
Взмах к виску. Пакет. Глаза у мальчика блестят.  
Сургучи в углах коричневеют:  
«Объявить в четыре пятьдесят  
Личному составу батареи».  
Рву пакет. Листовок рассышь.  
Обращенье к Фронту перед боем.  
И с невольными мурашками морозца  
Я читаю стоя:

«Солдаты, сержанты, офицеры и генералы! Сегодня в пять часов утра мы начинаем своё великое последнее наступление. Германия — перед нами! Ещё удар — и враг падѣт, и бессмертная Победа увенчает наши дивизии!..»

Что со мною?  
Бал Истории! Ожившие страницы!  
Маршалов алмазных вереница...  
Чья-то мысль, орлом нависшая над картой...  
Бар-р-рабаны!!! Выклик Бонапарта:  
«Это — солнце Аустерлица!»

ПРУССКИЕ НОЧИ

*Потоптали храбрые поганых...  
По полю рассыпавшись, что стрелы,  
Красных дев помчали половецких.*

Слово о Полку Игореве

Расступись, земля чужая!  
Растворй свой ворота!  
Это наша удалая  
Едет русская пехота!  
Холмик, падь, мосток и холмик —  
«Стой! Сходи! По карте — тут».  
Будет злая ведьма помнить  
В небе зимнем наш салют!  
Столько лет всё ближе, ближе  
Подбирались, шли, ползли, —  
«Бат-таря! Слу-шай! Трижды  
В небо прусское пали!»  
Шестьдесят их в ветрожоге  
Смуглых, зло-весёлых лиц.  
«По машинам!.. По дороге!  
На Европу! на-вались!!»

Враг — ни запахом, ни слухом.  
Распушили пухом-духом!  
Эх, закатим далеко!..  
Только что-то нам дико  
И на сердце не легко?  
Странно глянуть сыздаля,  
А вблизи — того дивней:  
Непонятная земля,  
Всё не так, как у людей,  
Не как в Польше, не как дома:  
Крыши кроют — не соломой...  
А сараи — как хоромы!  
Как обрезало по мете —  
Вьётся путь по незнакомой,  
По незнаемой планете...  
Не по нашей русской мерке  
Отработаны, шалишь,  
Крутоскатных, островерхих  
Колпаки высоких крыш.  
А и нам бы так годится,

Зря ругнули сгоряча —  
Черепица, черепица,  
Башни, теремы да шпицы,  
Да дома из кирпича.  
Эт' и нам бы не плачевно,  
Эт' и нам бы по душе:  
Что *сашá* — через деревню,  
Что деревня — на *саше*.  
Тёмным клубом из-за леса  
Низко тучи наплывают,  
Зимних сумерок завеса  
Мглою к сердцу подступает.  
Ночь долга, а день недолог.  
Что дрожит там в гуще ёлок?  
Нет ли немцев? Что-то чудно,  
Что-то слишком уж безлюдно.  
Там вон, в хвое... вроде — двое?..  
Чтоб душа была в покое —  
Зажигай дома, братва!  
Эх, займётся живо-мило! —  
Да не снизу! под стропила!  
Под стропила, голова!!  
Пусто ль ехать нам, ребятки,  
Немцу память не оставив? —  
Без команды, в беспорядке,  
Там и сям, гляди — десятки  
Дымно-красных мутных зарев.  
Ну ж и крепко! ну ж и ловко  
Отомщаем мы врагу!  
Всё в огне! Ищи ночёвку!  
Видно, спать нам на снегу...  
Ладно, нам выходит туго,  
Ну и ехали ж не зря! —  
Расцветает над округой  
Небывалая заря!  
И несётся наша лава  
С гиком, свистом, блеском фар —  
Кляйн Козлау, Гросс Козлау —  
Что деревня — то пожар!  
Всё в огне!! Мычат коровы,  
Заперты в горящих хлевах —  
    Эх, милаши,  
    Вы не наши!  
Нам самим бы по-здорову...  
И направо, и налево  
Вьются, рвутся, пляшут змеи!  
С двух сторон взвилось столбами,  
С двух сторон сплелось над нами —  
Пылью огненной, звездами,  
Искрой, блёсткой, головнями  
Так и сыпет нам на шею.  
Ветер огненный по школе  
В книгах рыскает, голодный.  
Самодельно крыты толем  
Шесть машин моих походных...  
Нам самим бы не сгореть тут!  
На подножку! Смех и грех.  
И кричу в румянном свете:  
«По махальщику — наверх!»  
Взобрались. Полой шинели  
Машут, папсут, отметають.  
Ну, спасибо, пролетели!  
Ухо-парни, службу знают.

Площадь. Сгрудились машины.  
Жили, дьяволы, богато!  
Вот когда вы, именины  
Неизвестного солдата!  
Шнапс хлбьщут из бутылки,  
Тащат смокинги в посылки —  
Что ты будешь с солдатнёй!..  
Кто-то скачет на кобылке,  
Крестит небо головнёй.  
Разбрелись, пируют, шарят...  
В лица пышет, в лица жарит.  
В золотом огне сгорев,  
Крыша рухается в хлев.  
Из-под новых тёмных кровель  
Валом валит чёрный дым —  
Завоёванного кровью  
Никому не отдадим!  
Кто-то, руки в растопырку,  
Загонявшись, ловит кур —  
И над всем возносит *кирка*  
Свой готический ажур.  
Д' ну ж и жарко! Д' ну ж и ярко!  
Как при солнце, словно днём.  
Как бы *кирку* нам под арку,  
Вон под верхнее оконце,  
Подцепить бы язычком?  
Пир и власть! Ликует хаос!  
Ничего душе не жаль!  
Кто-то выбил дверь в *Gasthaus*  
И оттуда прёт рояль.  
В дверь не лезет. И с восторгом  
Бьёт лопатой по струнам:  
«Ах ты, утварь! Значит, нам  
Не достанешься, бойцам? —  
Не оставлю военторгу,  
Интендантам и штабам!»  
Кто-то бродит беззаботно —  
Знатно хряпнул, развезло, —  
И со звоном, палкой, в отмашь  
Бьёт оконное стекло:  
«Где прошёл я — там не буду!  
Бей хрусталь, дробь посуду!  
Вспоминайте молодца!  
Добро ль, худо ль, янки-дудль!  
Лам-ца-дрица! лам-ца-ца!»  
Рвёт и рвёт, как склад патронов,  
Черепицу сгоряча.  
Вдоль деревни запалённой,  
Красным светом озарённый,  
Сыпет Ванька убожённый  
И — в гармонику сплеча:  
«Ра-азменяйте мне сорок миллионов  
И купите билет до Сергача!..»  
Знай — лады перебирает!  
И коровы умирают,  
Обезумевши мыча.  
«Заплатил братан мой смертью,  
Заплатить бы мог и я...»  
«По машинам! Что вы, черти?!  
Впереди — добра, друзья!»

И — к пожару от пожара,  
Снег под скатами буря,  
И выхватывают фары,  
Мёртвым светом серебря,  
Нескончаемую просадь  
Буков, липок и дубков,  
Гильзы, ящики набросом  
И обломки передков.  
Снова зарево растёт.  
Локоть — мостик — поворот —  
Всё в огне! Но чудеса:  
Заводские корпуса  
Поцедили небеса  
И столпившийся народ  
У распахнутых ворот.  
Мне стучит в стекло кабины  
Старшина неутомимый:  
«Разрешите выслать взвод  
На разведку в спиртзавод?  
Десять новеньких канистров  
У меня, вишь, завалились...»  
«Но ни капли в рот! И быстро!»  
«Для науки! на анализ!»  
«Знаешь, там этил, метил...»  
Но уже он соскочил.  
Взявши в руки большемерный  
С долгим череном черпак,  
Ловко взлазит на цистерну  
Старый бес, седой казак.  
Помахал толпе папахой,  
Окрестился вольным взмахом:  
«Помолитесь, христиане!  
Умираю ради вас!» —  
Зачерпнул — понюхал — глянул —  
Опрокинул словно квас.  
Крякнул, вытер сивый ус.  
«Ух, чертяка,  
И спиртяка!..  
Навалитесь, добры люди!  
Хоть за вкус  
Не берусь, —  
Горяченько будет!»  
Не дослушав, повалили, —  
Ай, спасибо казаку!  
Комиссары — разрешили!  
Трибуналы — в отпуску!!

Снова катим, снова катим  
По пылающей стране,  
И мотив из Сарасате  
Так и вьётся в уши мне —  
Неотстанный, непоборный  
Зов лукавый, не военный:  
*«Этот веер чёрный!  
Веер драгоценный!»*  
Величаво и злоеце  
Труд пылает вековой.  
Пламя плещет, пламя хлещет  
У меня над головой.  
То багрово, жирно, жадно  
Языком махнёт в окно,  
То над башенкой оно  
Расположится нарядно,

Златоструйно, многоскладно,  
Огневое полотно.  
И опять он, и опять он  
Из-за чёрно-красных пятен  
Зол, торжественен, понятен,  
Соблазнительно игрив  
Тот же дьявольский мотив,  
Тем же крадущимся скерцо  
Всё сильнее, всё сильнее —  
«Ну, какое сердце  
Устоять сумеет?..»

Что ж, гори, дыми, пылай,  
Трудолюбный, гордый край!  
Средь неистовства толпы  
Мести в сердце не ношу:  
Не сожгу в тебе щепы  
И дворца не погашу.  
Я пройду, тебя не тронув,  
Как Пилат, омыв персты:  
Меж тобой и мной — Самсонов,  
Меж тобой и мной — кресты  
Русских косточек белеют...  
Чувства странные владеют  
В эту ночь моей душой:  
Ты давно мне не чужой.  
Нас с тобой сплело издавна  
Своевольно, своенравно.  
Шли в Берлин прямой чертой —  
Я с надеждой, с беспокойством  
Озирался — не свернуть бы...  
Я предчувствовал, *Ostpreussen*,  
Что скрестятся наши судьбы!  
Там, у нас, погребено  
Пылью лет, архивов тайной  
То, что вами внесено  
Спесью башен в Хохенштайне,  
Что забыть мне не дано,  
Знать и помнить велено:  
Как Четырнадцатым годом  
Вот по этим же проходам —  
Межозёрным дефиле,  
Вот по этой же земле,  
В шесть солдатских переходов  
От снабженья, от тылов,  
За Париж, за чудо Марны  
Гнали слепо и бездарно  
Сгусток русских корпусов;  
Без разведки и без хлеба  
Гнали в ноги Людендорфу,  
А потом под синим небом  
Их топили в чёрном торфе.  
Шедший выручить, от смька  
Был отозван Нечволодов...  
— Затая в себе до крика  
Стыд и боль того похода,  
В храмном сумраке читален,  
Не делясь, юнец, ни с кем,  
Я склонялся над листами  
Пожелтевших карт и схем.  
И кружочки, точки, стрелки  
Оживали предо мной  
То болотной перестрелкой,

То сумятицей ночной.  
Жажда. Голод. Август. Зной.  
Дико вскинутые морды  
Рвущих упряжь лошадей —  
И не части — орды, орды  
Обезумевших людей...

А теперь несётся лава  
С гиком, свистом, блеском фар:  
Виндткен, Ваплиц и Орлау, —  
Что деревня — то пожар!  
Треплют, роют и ворошат,  
Самоходки стены крошат.  
В прорву проволок и надолб,  
Поверх сровненных траншей  
Валит русская громада  
Жерл, моторов и людей!  
Только-только осветило  
Лес и поле серым светом, —  
Небо всулошь кроют «илы»  
К немцу с утренним приветом,  
Гулом радостным победы  
Полнят душу, дразнят слух...  
Пушки-гаубицы едут  
*Ста-пятидесяти-двух.*  
Чтоб поспеть, не спя ночами,  
Тракторами-тягачами  
Тарахтят без остановки —  
Сколько вешишь, там не спросят:  
Лихо, вихрем, левой бровкой  
«Студебеккеры» проносят  
Лёгкой стайкой трёхдюймовки:  
«Эй, труба! Конец держи!»  
На *три четверти* «доджи»  
Прут и прут *сорокапятки* —  
Те, что с горечью ребятки  
«Прощай, родина!» зовут.  
Вперебой им, там и тут,  
Шатко, валко, вперепрыжку  
По раскатанной земле —  
Миномёты-коротышки  
За задками «шевроле».  
А для самой модной драки,  
Кто не видел — посмотри, —  
Тянут янки-автотраки  
Пушки русских «БС-три» —  
Друг за дружкой, друг за дружкой  
Катят новенькие пушки —  
Долгоствольны, дальнобойны,  
Нет таких ещё нигде,  
До прорыва бьют спокойно  
С огневых, как АДД\*.  
Чуть прорыв — туда их ветром,  
На наводочку прямую, —  
«Тиграм» на два километра  
Прошибают *лобовую*.  
Поздний плод большой науки,  
Прут «И-эСы»\*\*, танки-щуки.  
Снявши с рельс своих полотна,  
Чередой, впритирку, плотно,

---

\* Артиллерия дальнего действия.

\*\* Танк «Иосиф Сталин».

Не идут — плывут заботно  
С полным грузом спелых мин  
Три восьмёрки *катерин*.  
Год назад оравы пешей  
Чтó тянулось вдоль шоссе! —  
Умудрил теперь их леший —  
На машинах вся и все!  
Обнаглевшая пехота  
Переделалась на *мото*:  
Пулемёты и пожитки,  
Бронебойки и зенитки,  
Связь и хим-, дери их прах, —  
Всё уселось в кузовах!  
Нет пути! Дорогу ширя,  
Целиной гремит в обгон  
Танков «Г-тридцать четыре»  
Бесшабашный эшелон —  
Снег и землю с лязгом роет.  
Мчат казаки конным строем,  
С красным ленточьем лампасов,  
Остро вскинув плечи в бурках, —  
С каждым часом, с каждым часом  
К Найденбургу! к Найденбургу!

В Найденбурге рвёт огонь  
Добрый камень старой кладки.  
Город брошен в беспорядке,  
Взят в наживной лихорадке  
И, за немцами вдогон,  
Тут же брошен, снова взят  
Новой лавою солдат.  
Ни гражданских, ни военных  
Немцев нет, но в тёплых стенах  
Нам оставлен весь уют,  
И, сквозь дым, сквозь чад, сквозь копоть,  
Победители Европы,  
Всюду русские снуют;  
В кузова себе суют:  
Пылесосы, свечи, вина,  
Юбки, тряпки и картины,  
Брошки, пряжки, бляшки, блузки,  
Пишмашинки не на русском,  
Сыр и круги колбасы,  
Мелочь утвари домашней,  
Рюмки, вилки, туфли, мебель,  
Гобелены и весы, —  
А на ратуше, на башне,  
Прорываясь в дымном небе,  
Уцелевшие часы  
Так же честно мерят время  
Между этими и теми,  
Меж уходом и приходом,  
Тем же ровным-ровным ходом,  
Лишь дрожат едва-едва  
Древних стрелок кружева.  
Стройной готики обвалы  
В дымной гари — как завалы,  
Узких улиц поперёк.  
Пробки, сплотки и заторы,  
Тем не к спеху, этим скоро —  
По ступенькам, на порог  
Прут российские шофёры,  
Перекосом, залихватски,

Набекрень, — пройдем везде! —  
Мы привычны к азиатской  
Тряске, ломке и езде!

Угол улиц. Кем-то встарь  
Втащен, брошен здесь дикарь —  
В сто пудов валун скалистый.  
Из него, сечён резцом,  
Выступает хмурый Бисмарк  
С твердокаменным лицом.  
А под Бисмарком стоит  
Чудо-юдо рыба-кит —  
Сколько едем, вширь и вдоль,  
Ну, такого не видали:  
Вынес русским хлеб да соль  
Гля! — немецкий пролетарий!  
Да с салфеткой, да на блюдо...  
— Что ты вылез? — Ты откуда?  
— Пекарь, что ли? — Ладно, ехай!  
— Он живой? — А ну, пошпрыхай!  
Может, кукла?

На вопросы  
Распрямляется в ответ:  
— «Их бин коммунист, геноссен!  
Я вас ждал двенадцать лет!»  
Лейтенант затылок чешет:  
Может, враг, а может, свой,  
Может, правда, может, брешет,  
Трать на них, собак, конвой...  
«Отведите в полковой!»

Фронт волною, фронт волною...  
Дома в два зайти конвою,  
Шкаф прошарить и столы —  
И у этой же скалы  
Из седла не обернётся,  
Карту смотрит капитан.  
А у немца сердце бьётся:  
«Хёхсте фрэйде! Роте фаан'...  
КПД унд ВКП...»  
Перевёл ремень бинокля, —  
«Где ты взялся, будь ты проклят?  
Отвести на дивКП!»  
«Ну, пошёл! С тобой тут, с фрицем!»  
...Фронт катится, фронт катится...  
Тот же Бисмарк, тот же угол,  
Но в сомненьи и в испуге  
Угасает немца взор.  
«Вен их мёхте майне лебен,  
Майне крэфте... их... зоэбен...»  
«Гад. Шпион. Завёл молебен»,  
Пишет в «виллисе» майор:  
«СМЕРШ. С приветом. Соловьёву.  
Шлю какого-то чумного.  
Разберись там, оперчек,  
Что за чёрт за человек».  
Морщит лоб суровый Бисмарк.  
Ветром дым относит быстро.  
Канцлер глыбу, как ковчег,  
Словно взяв её навздым,  
Высоко несёт сквозь дым.  
И отводят коммунара

От подножья валуна.  
Он кричит мне с тротуара:  
«Гнэдиг' хэrr! Моя жена...  
Геринг-штрассе цвай-унд-цванциг...  
Диз' унвюрдиг' комéди...  
Я вернусь...»

Вернёшься, жди!..  
Иностранцы, иностранцы!  
Ой, по нам, младенцы вы.  
Ой, не снести вам головы!..

Цвай-унд-цванциг, Геринг-штрассе.  
Дом не жжён, но трёпан, граблен.  
Чей-то стон, стеной ослаблен —  
Мать — не на смерть. На матрасе —  
Рота? взвод ли побывал? —  
Дочь-девчёнка наповал.  
Сведено к словам простым:  
*Не забудем! Не простим!*  
«Кровь за кровь, и зуб за зуб»  
Девку — в бабу, бабу — в труп.  
Окровлён и мутен взгляд.  
Просит: «Тёте мих, зольдат!»  
Уж — темна. Не видно ей:  
Я — из них же, я-то — чей?  
Нет для вас больниц, врачей.  
Сплав стекла в местах аптек.  
День сереет. Тает снег...  
Жил да был партай-геноссе  
Не последний и не первый,  
Легший гатью под колёса,  
Под колёса Коминтерна.  
Красный ход державный, славься,  
Мне сейчас бы трахнуть шнапса.  
А ещё повеселее —  
Закатиться по трофеи.

На ловца и зверь бежит:  
Мимо почты путь лежит.  
Этот корпус трёхэтажный  
Через час огонь охватит,  
А запас, запас бумажный! —  
Век пиши и на век хватит.  
Хоть пригладь её щекою,  
Хоть сожмурься, так бела, —  
Я б с бумагою такою  
Не поднялся б от стола.  
Придиришь, — чего здесь нету,  
Канцелярская душа! —  
Всякой жёсткости и цвета  
Триста три карандаша, —  
Не щепятся, не занозны,  
Древесина их мягка,  
Без усилий, грациозно  
Нажимает их рука.  
Кох-и-нор, почтенный Фабер —  
Век Европе послужил.  
— Ну, а если бы теперь я  
Понемножечку хотя бы —  
Эти ручки, эти перья,  
Эту радугу чернил  
В пузырьках с притёртой пробкой,  
Эти скрепки, сколки, кнопки,

Папки, книжечки, коробки —  
Да в машину погрузил? —  
Покраснею ль от стыда?  
Как я жил? Бумаги гладкой  
В ученической тетрадке  
Я не видел никогда:  
Перья рвут её, скребут,  
В грязь до дыр резинки трут,  
Словно лимфа крокодила,  
Водянистые чернила —  
И они на ней плывут!  
Грифель — глина; чинишь, чинишь —  
Вдруг насквозь весь грифель вынешь,  
Купишь мягкий, «В», зараза, —  
Режь им стёкла, как алмазом!  
И мертвец вдохновенье,  
Мысль роняешь камнем ко дну, —  
Как же мне без восхищенья  
В этот зал войти сегодня?  
Как искатель кладов рыщет,  
Обезумев, по пещерам,  
Так хожу здесь алчный, нищий,  
Лишь одетый офицером.  
Уж теперь, когда пришёл к ним  
Только пальцами прищёлкну —  
То — забрать, и это — тоже!  
Перед кем краснеть я должен?  
Я б указчика такого,  
Да послал пожить в Союзе!..  
«Старшина! Вот это всё вот  
Пусть ребята грузят в кузов».

А пока тащат и валят,  
Узкой улкой, нам в обгон,  
В дымке смеси, в лязге стали  
Мчится танков эшелон.  
А пока мотор заводят,  
Левым боком нас обходят,  
Чтоб поспеть подальше к ночи,  
Всё, что взято, приторочив,  
Бросив всё, что не с руки,  
Удоволены победой  
И гулянкой, и обедом,  
Ухмыляясь, казаки.  
В нашей жизни беспокойной —  
Нынче жив, гляди — убит,  
Мил мне, братцы, ваш разбойный  
Не к добру весёлый вид.  
Выбирали мы не сами,  
Не по воле этот путь,  
Но теперь за поясами  
Есть чем по небу пальнуть.  
Так не зря же, так не жаль же,  
Худо-бедно наворачиваем!  
Скачем дальше! Катим дальше!  
В Алленштайн! В Алленштайн!

Алленштайн только взят,  
Взят внезапно час назад  
Конно-танковым ударом,  
Ни сплошным ещё пожаром,  
Ни разгулом не объят.

Домы полны. Немцы в страхе,  
Запершись в ночном тепле,  
Стука ждут в тревожной мгле.  
Ночь — горит. Горящий сахар —  
Фиолетовое пламя! —  
Растекает по земле.  
Дрожь огней. Лиловый трепет.  
Льёт из склада меж домами  
Чай шальной, что нами не пит.  
Если в валеных сапожках,  
Обходи кругом, Митрошка,  
Обходи шагов за сто!  
Несмотря, что снег растоплен,  
Два узбека в луже с воплем  
За вечернее манто  
Ухватились, уцепились,  
Не уступят ни за что.  
Синей шерстью, синим мехом  
Отливает. На потеху  
Третий, русский, закричал им:  
«Погоди! Обоим дам!»  
Подскочил к ним — и кинжалом  
Перерезал пополам.  
В кой бы дом искать добычи?  
Где богаче? Где верней?  
Ванька в дверь прикладом тычет,  
Глядь, а Дунька из дверей.  
Что по туфлям, по зачёсу,  
Джемпер, юбочка, — ну, немка!  
Тем лишь только, что курноса,  
Распознаешь своеземку.  
Руки в боки, без испуга  
Прислонилась к косяку.  
«Кто ты есть?» — «А я — прислуга».  
«Будет врать-то земляку!  
Ни подола, чтоб захлюстан,  
Ни сосновых башмаков, —  
Пропусти!» — «Да кто ж ты пустит? —  
Пьяный, грязный, тьфу каков!..»  
К парню — новые солдаты,  
Девка речь ведёт иначе:  
«Погодите-ка, ребята,  
Покажу вам дом богаче,  
Немок-целок полон дом!»  
«Чай, далёко?..» — «За углом!  
Потружусь уж, покажу,  
Как землячка, послужу».  
Дверь захлопнув за собою,  
Налегке, перед толпою,  
Убегает, их маня  
В свете синего огня.  
За углом исчезли круто,  
Стуки, звоны и возня,  
И ещё через минуту  
Где-то тут же, из-за стенки,  
Крик девичий слышен только:  
«Я не немка! Я не немка!  
Я же полька, Я же полька...»  
Шебаршат единоверцы,  
Кто что схватит, где поспеет.  
«Ну, какое сердце  
Устоять сумеет?!»

Алленштайновский вокзал  
Только-только принимал  
Пассажиров, кто бежал  
Вглубь, в Германию, на запад,  
И о том, что он внезапно  
В руки русские попал, —  
Там, восточнее, не знают,  
Отправляют, отправляют  
Мирных жителей сюда,  
Женщин, девушек-беглянок,  
Малых, старых поезда.  
А соседний полустанок —  
Расхлестнувшийся, туда  
Не дошёл передний край, —  
Отправляя эшелоны,  
В чёрном лаке телефона  
Слышит мерно: «*Strecke frei*»\*.  
«*Strecke frei!*» — весь бой, весь вечер,  
Ночь до утра шлёт им, шлёт им  
Алленштайновский диспетчер —  
Не чужой, не русский, — свой! —  
Немец в бледных каплях пота,  
Затаённый, восковой, —  
Ходит роботом. Пред ним,  
Выдыхая трубкой дым,  
За столом — майор огромный  
Службы общевойсковой —  
Обожжённый, смуглый, тёмный,  
С пышной чёрной бородой,  
Саблю на стол,  
Ноги на стул,  
В голевом тулупе белом.  
Спирт, соя, из фляжки хлещет.  
Выпьет — взглянет осовело.  
Перетянут, переkreщен,  
Грозен, зол, не жди добра, —  
На боку враспах зловеще  
Пистолета кобура.  
У майора ординарец  
Расторопен образцово:  
Опростав походный ларец  
На пол зала изразцовый,  
Мебель шашкой нащепя,  
Оглянувшись вкруг себя —  
И костёр повеселу  
Вот уж брызжет на полу.  
Котелки и сковородки —  
Всё шипит в порядке чётком,  
И *домашние* консервы  
Оживают в кипятке,  
И вторая вслед за первой  
Тонет курка в чугушке.  
Парень весел, хлопец вражий,  
Напевает, стопку в раже  
Опрокинет налету, —  
И порхают хлопья сажки  
В электрическом свету.  
Доглядывая сквозь дым махорки,  
Вижу я — майор не спит:  
Мутен, пьян, устал, но зорко  
За диспетчером следит.

---

\* Путь свободен.

А диспетчер, горбясь зябло,  
Опершись о стол ослабло,  
Путь и поезд пишет в книгах,  
В перезвонах, перемигах  
Ламп, сигналов и звонков,  
Как привычно, механично  
Аккуратен и толков,  
Эшелоны принимая,  
Одноземцев отправляя  
В жизнь иную, в ад и в рай,  
Мерной фразой: «*Strecke frei*».  
В час четырежды по зданию  
Отдаётся содроганьем  
Тяжесть мощных паровозов,  
Поездов катящих дрожь...

А майор совсем не грозен,  
Разглядеться — он похож  
На дворнягу — добродушен,  
В лохмах чёрных. Заломя,  
Насторожил шапки уши,  
И одно торчит торчмя.  
Душ распахнутый простор! —  
Фронт! — как будто с давних пор  
Мы знакомы — руку, руку,  
Ты куда? откуда?

— Я?

Я — звукач, ловлю по звуку,  
Да не слышно ни ...  
— Штаба Фронта, из Седьмого —  
Разложение войск противных.  
— А! Про вас историй дивных  
Я наслышан.

— Сам с какого?

Где бывал?

— Под Руссой.

— Ловать?

Был?

— И ты?

— Ну, да!

— И мы

С первых месяцев зимы.  
— Генка, кружки! Выпить повод!  
Это ж редкостный земляк.  
А Осташков?

— Бор?.. Марёво?

Церковь, горка и овраг?..

— Лупачиха...

— Озерище...

— Где потом?

— Орёл.

— Дружище!

Становой Колодезь?

— Ляды...

Мы же были...

— Мы же рядом!..

— Лютый Корень...

— Русский Брод...

— Зуша...

— Чаполоть... Заплот...

— Мост и ров?..

— Да ты присядь!

Генка, скоро там пожрать?

Левин.  
— Нержин.  
— Яков. Лей.

А тебя?  
— Меня — Сергей.

Я — запас.  
— И я — запас.

Где уж кадрам, *entre nous*,  
Без запасников, без нас,  
Эту б выиграть войну!  
— Кем был до?

(В косматой шкуре,  
В гуле гибнущей земли.)  
— Я доцент литературы  
Из московского ИФЛИ.  
— Из МИФЛИ?!

(Без шапки...)  
Ба!

Я вас видел там! Судьба...  
Только эта борода  
Не росла у вас тогда.  
— С сорок первого. С обетом  
Не сбривать до дня Победы.  
— На лице не помню шрама.  
— Ильмень-озеро, раненье.

В ярком верхнем освещеньи  
Узнаю, каков был там он:  
...«Век великий Просвещенья!  
Век Вольтера, век Бентама!..»  
Мудрецов по стенам лики,  
У студенток трепет век.  
«...Восемнадцатый Великий  
Человеком гордый век!..»  
Помню, помню, свеж, разглажен,  
Остроумен, оживлён,  
Вёрток, прост, непринуждён,  
В смелых выводах отважен,  
Красноречием палим,  
За звонок читал — и даже  
Коридором шли за ним.  
А теперь отяжелели,  
Разжирели я и он,  
Еле-еле, еле-еле  
Набираем мы разгон.  
И взахлёб, бесперебойно,  
Торопливо, беспокойно,  
Пьём ли, курим ли, едим —  
Говорим и говорим.  
Книгам клич! Сейчас он — царь их!  
Реет мысль в его словах,  
Жизнь живая блещет в карих  
Протрезвившихся глазах.  
Трижды клятые вопросы —  
Русь, монголы и Европа,  
Расстегнулся, шапку сбросил,  
Чуток, тонок, мягок, тёпел...  
Будто грудь его дыханьем  
Разорвала тесный обруч,  
Говорит он о Германьи,  
Понимающий и добрый...  
Но разведенные плечи  
Высоко несут погоны...

И лунатиком диспетчер  
Принимает эшелоны.

И — казаки по вагонам.  
Звон от сабель. Стук прикладов.  
«Вы-ходи!» — И по перрону  
В шубках, в шляпках, в ботах, стадом —  
«Без вещей, как есть!..» — бессильных,  
Перепуганных цивильных  
Всех пешком на пункты сбора,  
Снегом розовым сквозь город,  
Отбивая по пути,  
С кем вольно им провести  
В подворотне, там ли, тут,  
Вгоряче пяток минут.

Генерал из интендантов  
С ординарцем, с адъютантом  
Ходит с палочкой, хромой.  
Остриём её как щупом  
Чуть брезгливо между трупов  
Отбирает, что — домой.  
И едва укажет стёком  
Шарфик, перстень, туфли, ткань ли —  
Взято вподхват чела'эком,  
Утонуло в чемодане.  
Чемоданов с ними три,  
Всё поместится внутри.  
Буйной ярмарки товары  
По платформам, по путям —  
С пылу, с жару, шаром-даром  
Разбирай ко всем чертям!  
Две корзины венских булок,  
Узел дамского, грехи,  
Сигареты из Стамбула  
И французские духи.  
Ну, беда, куда всё денешь!  
Шелкова белья наденешь  
Восемь пар — шинелка туго!  
Солдатня столпилась кругом  
У покинутой коляски —  
Голубой да кружевной:  
Вот младенец — он ведь немец?  
Подрастёт — наденет каску...  
Есть приказ Верховной Ставки!  
Придушить его теперь?..  
Кровь за кровь!.. «По пьяной лавке  
Говоришь или стрезва?  
Сам ты Ирод, поп твой зверь!»  
«Дед, не я ведь... Дед, Москва!..»

«По машинам!» Снова в путь.  
Ни вздремнуть, ни отдохнуть.  
Как в цветном калейдоскопе  
Катим, катим по Европе,  
От бессонницы, от хмеля  
Окрылились, осмелели,  
Всё смешалось, всё двоится,  
Перекрестки, стрелки, лица,  
Встречи, взрывы, мины, раны,  
Страхи, радость, зло, добро, —  
Прусских ночек свет багряный.

Прусских полдней серебро.  
То — шоссе, то вперекрест  
Две следи — и все в объезд —  
Путь меняет рок железный,  
Проплывает как во сне:  
Где-то в тихой, непроездной  
Заснежённой стороне  
Чей-то дом уединённый,  
Лес нетронутый за ним,  
Чья-то шумная колонна  
На печной свернула дым.  
Чуть моторы заглуша,  
Греться спешили, спеша.  
В свете солнца больно глянуть:  
Поле снежное искряно,  
Ни слединки колеса.  
В пухе снега, в блёстках льдяных  
Безмятежные леса.  
Там у нас, по русской шири,  
Фронт стоял — и нет лесов,  
Осталась сплошная вырубь  
От военных топоров —  
Блиндажи перекрывали  
Наших сосенок стволы...  
Жалко, здесь не воевали:  
Ишь, стоят, горды, белы,  
Русской нет на них пилы!  
Синим льдом мелькнут озёра,  
Белизной увиты реки,  
В сёлах — дуб комодов, шторы,  
Пианино и камины,  
Радио, библиотеки.  
Словно путь — проспектом Невским,  
В каждом доме — Достоевский,  
Полный, розный, а в одном  
Даже рукопись о нём.

Нам навстречу понемногу  
Оживляются дороги:  
Итальянцы, дай Бог ноги  
Из союзной им земли,  
Так же голы, как пришли,  
О добытке не тревожась,  
На морозе жимко ёжась,  
Каблучишками стучат,  
Скалят зубы и кричат,  
Машут русским в честь победы.  
Р-разбегайся по домам,  
Рим, Неаполь и Милан!  
Увязав велосипеды  
Кой-каким подручным грузом,  
Предприимчиво французы  
Крутят, отбив вражий плен,  
На Париж и на Амьен!  
Не теряйся, молодцы!  
...В синем, в рыжем и в зелёном  
Валят сбродом возбуждённым.  
Пан усатый под уздцы  
Фуру горкою спускает, —  
Через верх нагружена,  
Холст трофеи прикрывает,  
И лицо от нас скрывает,  
Застыдьясь, его жена.

Видно Машку под платочком  
И на козлах у поляка!  
«Эй! краса! молодка! дочка!  
Ты куда же?» — «Мы — под Краков».  
«Ай, девчѐнка, ходим с нами!  
Забодает ведь усами!..»  
Мир кружится каруселью,  
В семь небес пылит веселье,  
Всем на свете прощено,  
— Но...

Строим зачем-то шагают виновно  
Русские пленные. Безостановно.  
Спины промечены едкими метками.  
Это клеймо не затравишь ничем...  
Лиху дорожку под сниклыми ветками  
Топчут, задумавшись сами — зачем?  
К пиру не прошены, к празднику не званы,  
В мире одни никому не нужны, —  
Словно склоняясь под топорное лезвие,  
Двигутся к далям жестокой страны...

---

Немцев долгие обозы  
Из фургонов перекрытых  
Вдоль дорог скрипят, скрипят,  
Наступленьем нашим грозным  
Где-то северней отбиты  
И повёрнуты назад.  
Под брезента долгий болот  
Скрывши утварь и семью,  
У развилка на просѐлок,  
Сбочь шоссе на краю,  
Терпеливо ждут просвета  
В нескончаемом потоке,  
Цепenea перед этой  
Силой, грянувшей с востока.  
И, безвольные к защите,  
Прячут голову меж плеч,  
Грабь их, бей их, подойди ты  
Чтоб коней у них отпречь.  
Но, насытясь в наступленьи,  
Как по долгу службы, с ленью  
Теребят их захоронки  
Наши парни, ковка, звонко  
Проходя дорогой торной.  
Взять — оно бы не зазорно,  
Да ведь возят барахло,  
А в посылку — пять кило!

Всюду женщины — в обозе,  
Под тряпьём в любом возке,  
Разордевшись на морозе  
Нам навстречу налегке  
По две, несколько. Одна,  
Белокура и пышна,  
Распрямясь, идёт не робко  
Вдоль шоссе по крайней тропке  
С несклонѐнной головой  
В рыжей шубке меховой,  
В шапке-вязанке, с портфелем.  
Чуть минует с осторожкой

В туфле маленькою ножкой  
Занесённые трофеи,  
Где укрыто, где торчит  
В небо четверо копыт.  
Мы — в заторе. По две, по три  
В ряд машины. Кто прыжком  
Греет ноги, кто бежком.  
...Глаз не прячет, смело смотрит,  
Каждым взглядом нам дерзя,  
Будто взять её нельзя.  
На подвижном белом горле  
В распашь меха — шарф цветной.  
С батареей нас затёрло,  
И в машине головной —  
«Опель-блиц» из Веермахта,  
Плавный ход и формы гнuty,  
Утонув в сиденьи мягком,  
Я сижу, в тулуп закутан.  
Чуть щекочет шею шёрстка.  
Чтоб не спать — сосу конфетки.  
Светит зелено двухвёрстка  
В целлулоиде планшетки.  
Я и вижу и не вижу,  
Как подходит немка ближе,  
Как, солдат завидя, шаг  
Убыстряет свой и как,  
Кольхнув большой фигурой,  
Ничего не говоря,  
К ней шагнул сержант Батурин,  
Цвет-блатняга, на Амуре  
Отбывавший лагеря.  
Приказал: «А дай-ка портфель!»  
С ним — и Сомин. Напряжёнno  
Подошёл и приглушённо  
Ей: «А что там? Покажи-ка!»  
Стала выпрямленно-гордо,  
Густо краска разошлась.  
Расстегнула и как выкуп  
Протянула: «Битте, шнапс».  
В литр бутылка. А налито  
Треть ли, четверть ли от литра.  
Презирая унтерменшей,  
Ждёт струной, в румянце. Раса!  
Жду, сощурясь — не возьмут ли?  
(Грамм пятьсот на день, не меньше,  
Из возимого запаса  
Выдаю.) Батурин мутно  
Глянул, руку протянул, —  
Сомин — хват и, как гранату,  
В снег нетронутый швырнул:  
«Низко русского солдата  
Ценишь, девка!» — и портфель  
Вырвал, вытряхнул — сорочка,  
Гребни, письма и платочки,  
Фотокарточек мятель...

Преодо мной — газета, карта,  
Отмечаю ход фронтов:  
Если здесь и здесь удар, то  
В феврале мы здесь, а в марте...  
«Что тебе?» — Суров, без слов,  
Сомин мне в окно кабины  
Фотоснимок подаёт.

Взгляд надменный. Снят мужчина.  
В форме. С лоском. Оборот:  
*«Meiner innigst' g'liebter Braut  
In dem Tag... im Garten, wo...»\**

— «Ну, так что ж? Отдай ей. Право,  
Я не вижу ничего».

— «Как, а свастика?» — «Да, верно.  
Нарукавник». — «Так жених —  
Из SS?» — «SS, наверно...  
Чёрт их знает, как у них...»

И — махнул рукой на миг.  
Знак, орёл, сукна окраска —  
Различи да доглядишь,  
Что такую же повязку  
*Todt\** носил и *Arbeitsdienst\*\**.  
Что-то дрогнуло в заторе,  
Заработали моторы,  
И, уже сдвигаясь с места,  
Я увидел: от невесты  
Сделал Сомин шаг назад,  
Снял Батурин автомат  
И — не к ней, а от неё! —  
Тело выбросил своё.  
Без сговора, полукругом,  
Словно прячась друг за другом,  
Шаг за шагом, три, четыре,  
Молча, дальше, шире, шире —  
Что? Зачем? Собрать нагнулась,  
Оглянулась —  
Поняла! —

Завизжала, в снег упала  
И комочком замерла,  
Как зверок недвижимый, жёлтый...  
Автомат ещё не щёлкал  
Миг, другой.

Я — зачем махнул рукой?!

Боже мой!

«Машина, стой!

Эй, ребята!..»

Автоматы —

Очередь. И — по местам...

.....  
«Ладно, трогай, что ты стал...»

Как свежа!.. И в чьём-то доме  
Будут ждать её и след  
Вдоль дорог искать. Но Сомин,  
Дома не быв много лет,  
Тоже ждал и тоже шёл,  
И к гробам родных пришёл.  
Как-то немца пожилого  
В лес завёз он и убил.  
И тогда б — довольно слова!..  
И тогда я близко был...  
В самом пекле, в самой гуще  
Кто же знает — чья вина?..  
А откуда? Разве лучше  
Из веков она видна?

\* Моей задушевно любимой невесте, в день... в саду, где...

\* Транспортная организация в помощь армии.

\*\* Обязательная полувоенная повинность после окончания средней школы.

Кто здесь был — потом рычи,  
Кулаком о гроб стучи —  
Разрисуют ловкачи,  
Нет кому держать за хвост их —  
Журналисты, окна «РОСТА»,  
Жданов с платным аппаратом,  
Полевой, Сурков, Горбатов,  
Старший фокусник Илья...  
Мог таким бы стать и я...  
Победим — отлакируют,  
Колупай зарытый грех!..  
Все довольны, все пируют —  
Что мне надо больше всех?  
Всё изгрыз в моём рассудке  
Вечный червь — самоанализ.  
Может, считанные сутки  
В этой жизни мне остались?  
Холод чина, суд да власть, —  
Как учил индус Чарваки:  
А мои плоды и злаки?  
А моя когда же часть?  
Был «жемчужиной в уборе  
Атеистов» тот индус,  
И скрестить с ним речи в споре  
Я сегодня не найдусь.  
*Carpe diem!* — гедонисты  
Нас учили: *день лови!*  
Дни осыпятся, как листья,  
Загустеет ток крови:  
Всё слабей, бледней и реже  
Острота и вспышки чувств?..  
Все так делают. Не мне же  
Возражать тебе, индус.  
*Все так делают!* Бесплодна  
Белизна идей и риз.  
Жизнь подносит кубок — до дна!  
И — пустым раструбом вниз.  
Слышишь, слышишь зов упорный,  
Шёлком скованный, покорный,  
Шелестящий, сокровенный —  
«Этот веер чёрный,  
Веер драгоценный...»  
Словно волосы Медузы  
Голова войны лохмата.  
Сердце пьяного солдата  
Из Советского Союза —  
Жальте, жальте, жажды змеи! —  
Распахнулся чёрный веер,  
Чёрный веер Сарасате!  
В краткий счёт секунд и терций  
Он нам зноем жизни веет —  
«Ну, какое сердце  
Устоять сумеет?..»

Отобедав, на диване,  
Затянулся сигаретой,  
И в разымчивом тумане  
Округляются предметы:  
Зеркало и радиола.  
В тёмных изразцах камин.  
Белый над кроватью полог.  
Пена голубых перин.  
Что там было... Что там будет...

Нет ни завтра, ни вчера.  
Пропируем и прокутим  
И проспим здесь до утра.  
Снежный свет в двойные стёкла.  
Зимний день уже на склоне.  
Как в обёрнутом бинокле,  
Где-то очень далеко,  
Старшина в докладном тоне  
Хитрым вятским говорком  
Рапортует, что расставил  
Батарею на постой,  
Что, жалеючи, оставил  
Пять семеек за стеной,  
Но что тотчас выгнать можно...  
Почему-то вдруг тревожно  
Сердце вскинулось моё.  
Вида не подав наружно,  
Спрашиваю равнодушно:  
«Женщины?» — «Одно бабьё».  
«Молодые?» С полувзгляда,  
Хоть вопрос мой необычен,  
Доверительно: «Что надо.  
Ну, не знаю, как... с обличьем».  
Вот за то, что ты толков,  
И люблю тебя, Хмельков!  
Чуть мигни — готовый план:  
«Я, товарищ капитан...»  
*Сформулировать* мне трудно.  
Так бы смолк и взял бы книгу.  
«...полагаю — в доме людно.  
Во дворе видали флигель?  
И коровы в хлеве рядом.  
Две минуты — и порядок:  
Приведу туда любую  
Н-н... надоить нам молока...  
Лишь бы глянувши — какую,  
Вы кивнули мне слегка».  
Кончено. Не быть покою.  
Ласточкою стукоток:  
Знать об этом будем двое,  
Больше никогда никто.  
Ладно! Встал. «Пошли, Васёк.  
Быстро. Где они? Веди».  
Вышли. Круг. И на порог.  
«Ты поймёшь, кого. Следи».

Пар и брызги пены мыльной.  
Утюги. Угар гладильный.  
Две кровати. Стол. Корыто.  
Боже, сколько их набито!  
Не пройти, чтоб не задеть их, —  
Бабки, мамки, няньки, дети —  
Разномастны, разноростны,  
От младенцев до подростков, —  
Все с дороги сторонятся,  
Те не смотрят, те косятся,  
Те не сводят глаз с лица  
Иноземца-пришлеца.  
Стихли крики, речь и гомон,  
Лишь шинель моя шуршит.  
А Хмельков — как будто дома,  
Отвалясь непринуждённо,  
У двери стоит-следит.

Как неловок! Как смешон я!  
Лица женщин обвожу,  
Но... *такой* не нахожу:  
Кто сбежал в мороз да в лес,  
Кто упрятался вблизи...  
И зачем сюда я влез?  
Чёрт с ним... — «Э-э, *wie heissen Sie?*»\*  
Худошавая блондинка,  
Жгут белья крутя над ванной,  
Чуть оправила косынку  
И сказала робко: «Анна».  
Так... лицо... фигура... Да...  
Не звезда киноэкрана,  
Не звезда...  
Лет неплохо бы отбавить,  
Здесь и здесь чуток прибавить,  
Нос, пожалуй, великонек,  
Да-к и я же не *Erlkönig*\*...  
Шут с ним, ладно, лучше, хуже,  
Только б выбраться наружу.  
Неразборно что-то буркнув,  
Быстро вышел. Следом юркнул  
Старшина. В сенях интимно:  
«Всё понятно. Вы во флигель?»  
«Я — туда, но только ты мне...  
Неудобно же... не мигом...»  
«Разбираюсь! Я — политик,  
Всё в порядочке. Идите!»

Нежилое. Флигель выстыл.  
Хламно. Сумрачно. Нечисто.  
В сундуках разворошён.  
По полам напорошён.  
Острый запах нафталина.  
На бок швейная машина.  
В верхнем ящике комодном  
Перерытое бельё.  
До черёмухи ль? — походно  
Как устроить мне её?..  
Поискал. В пыли нашлась  
Подушёнка на полу.  
Койка жёсткая. Матрас,  
Кем-то брошенный в углу.  
Подошёл, брезгливо поднял,  
Перенёс его на койку:  
Жизнь подносит кубок — до дна!  
И не спрашивай — за сколько...  
Снега нарост раздышал я  
На стекле до тонкой льдинки,  
Вижу: в этой же косынке,  
Лишь окутав плечи шалью,  
С оцинкованным ведром,  
Как-то трогательно-тихо  
Анна движется двором.  
В двух шагах за нею, лихо,  
Как присяге верный воин,  
Старшина идёт конвоем.  
Глянул пару раз назад,  
Чуть из дома невдогляд:  
«Не туда, э, слышишь, фрау!

---

\* Как вас зовут?

\* Лесной царь.

Не туда! Шагай направо!»  
С тем же самым в кротком взгляде  
Выражением печали  
Оглянулась — поняла ли,  
И прошла к моей засаде.  
Дверь раскрыла — на пороге  
Я. И удивлённо дрогнул  
Рот её. Нето ошибкой  
Показалось ей, что здесь я, —  
Извиняющей улыбкой  
Ей смягчить хотелось, если  
Я подумал, что она  
Заподозрила меня.  
Стали так. Не опуская,  
Всё ведро она держала...  
В белых клетках шерстяная  
Шаль с плеча её сползала.  
Дар и связь немецкой речи  
Потуплённо потеряв,  
Шаль зачем-то приподняв,  
Я набросил ей на плечи.  
С рук, от стирки не остывших,  
Лёгкий вздымливал парок.  
Нерешительно спросивши,  
Отступила на порог...  
Шаг к двери непритворённой,  
Притворил её хлопком.  
К действиям приговорённый,  
Поманил, не глядя: «*Komm!*»  
Ни пыланья, ни литого  
Звона трепетного в мышцах! —  
Стал спиной к постели нищих  
И услышал, что — готова...

...С бледно-синими глазами  
Непривычно близко сблизясь,  
Я ей поздними словами  
Сам сказал: «Какая низость!»  
В изголовье лбом запавши,  
Анна голосом упавшим  
Попросила в этот миг:  
«*Doch erschiessen Sie mich nicht!*»\*

Ах, не бойся, есть уж... а-а-а...  
На моей душе душа...

---

\* Только не расстреливайте меня.

\* \* \*

Где ты, детства чистого светильник?  
Дрожь лампы? Ёлки серебро?..  
Кто ж как не убийца и насильник  
Взялся за перо?..  
Соблазнявшись властью над толпой покорной,  
Отшагав дороженькой кандалной,  
Равно я не видел ни злодеев чёрных,  
Ни сердец хрустальных.  
Между армиями, партиями, сектами проводят  
Ту черту, что доброе от злого отличает дело,  
А она — она по сердцу каждому проходит,  
Линия раздела.  
Выхожу я каяться площадно  
На мороз презрения людского:  
Други! К радости ль стремиться? — радость беспощадна.  
К торжеству ль? — да нет его не злого.

И ТЕБЕ, БОЛВАН ТМУТАРАКАНСКИЙ!

Под пушками — раскисло...  
 Февраль — гнилой, нагой...  
 Снарядами нечислимо  
 Швыряясь, — малосмысленный  
 Ведём в котёл по площади огонь.  
     Какой-то день расплывчивый —  
     Муть облак, морозга...  
     На ленте запись сбивчива,  
     Слабеет поиск впивчивый,  
     И вязнет мысль, как в месиве нога.

Звонок. Испуг Евлашина:  
 «Вас — генерал!.. К себе!»  
 «Да... Нержин... Понял... К вашему?..»  
 По глине, снегом квашенной,  
 С ЦС бегу я к домику КП\*.  
     Про *альфу, дельта-омегу*,  
     Поправки... Всё про то...  
     ...Весь верх снесён, и кроме как  
     Две комнаты — у домика  
     Всё прочее отмечено вчисто.

Бегом насквозь прихожую.  
 За дверь. Направо — Сам.  
 Налево — настороженный  
 Десяток. Как положено,  
 Не в лица, а скользнув лишь по звездам,  
     Я вижу: старше нет его.  
     «Товарищ генерал!..» —  
     С готовыми ответами  
     Внаклон. Но не для этого,  
     Видать, меня комбриг суровый звал.

Плывёт молчанье лебедем.  
 Спросить? Никак нельзя.  
 «Вы, Нержин... вы... *поедете...*»  
 (Куда??) Не мечут ледени  
 Задумчиво смягчённые глаза.  
     «Ваш пистолет!..» Естественно.  
     Я понял, я готов:  
     Задание ответственно,  
     И хочет соответственно  
     Оружие проверить сам Грузнов.  
 Кольцо снимаю с тренчика,

---

\* Командный пункт.

Из кобуры — ТТ  
 И с приузом ременчатым  
 Дружочка неизменчива  
 Кладу пред генералом в простоте.  
     Взят бережно. Положен он  
     В глубь ящика стола...  
     Искорчены! — восторжены! —  
     Метнулись два, как коршуны,  
     Из группы напряжённой из угла!  
 Ещё не понял — что они? —  
 За пояс! за звезду! —  
 «Молчать!! Вы арестованы!!!» —  
 Рукой натренированной  
 Погоны отрывая на ходу.  
     Весь мир дрогнул, расщепленный! —  
     «Я???» — Бездна наголо...  
     Карманы растереблены.  
     Миг — холод. Миг — отеплина.  
     И грудь. И лоб. И щёки мне ожгло:  
 «За что??» — ход мысли торенный  
 Минуть и мне невснос —  
 В доверчивой Истории  
 Тьма тысяч раз повторенный,  
 Ни разу не ответенный вопрос.  
     На генерала я-таки  
     Взглянул, на шаг ступя,  
     Из рук, оплетших натуго, —  
     В глазах всё та же радуга,  
     И видит и не видит он меня.  
 На лбу — печали облако...  
 — За что? За что?... — Кружат,  
 По телу с ловким обвыком  
 Скользят майор с подсобником  
 И сумку полевую потрошат.  
     «Давай! Давай!» — Не тешиться,  
     Не мешкать им со мной, —  
     И так уж эти смершевцы  
     Безумно храбро держатся,  
     Осмелившись прийти к передовой.  
 Скорее! Под бока меня —  
 «Давай, давай! Иди!»  
 «За что же??» — Мысли в пламени!  
 «Вернитесь, Нержин», — каменный  
 Негромкий слышу оклик позади.  
     Со всею силой жизненной  
     Швырнул двоих... — За что??  
     Приёмник?... Ящик гильзовый?..  
     Крутой мгновенный изворот —  
     «У вас на Украинском фронте — кто?»  
 Андрей!! — догадкой молненной!  
 «Нельзя! — кричат. — Нельзя!»  
 За полы тянут. «Вспомнили?»  
 Как бомба рвётся в комнате,  
 Встаёт Грузнов и руку жмёт мне: «Я  
     Желаю, Нержин, счастья вам...»  
     Он? Счастья? Мне?? Врагу???  
     Бесстрашно твёрд участливый  
     Последний взгляд. Опасливо  
     Приёжились все свитские в углу.  
 И — всё. И всё... И — кончено...  
 И я один, как перст.  
 Надбитая окончина  
 Задрезжала звончато,

Топорщится их смершевская шерсть.  
 «Давай! Скорей!» — экзотики  
 Им на год невпрожѣв.  
 Под кровом хмурой готики,  
 В тылу, на тайном счётике  
 Напишется фамилия «Грузнов».

Идут, неся подмышками  
 Блокнот мой не один...  
 Мы — письмами, мальчишки мы!  
 Мы записными книжками —  
 Собрали им улики и обвин.  
 А книги как?.. За сенцами  
 Ждёт «эмочка» — ажур!  
 Воюют, да не с немцами...  
 Без книг, лишь с полотенцами,  
 Мой чемодан Илья подносит, хмур.

Ах, умница! Ни отзыва.  
 Прошёл меж нас обруб.  
 Стоит он тёмный, бронзовый,  
 Всю сцену взглядом грозовым  
 Как навек будто впитывая вглубь.  
 Без обыска?.. Забегали:  
 «Давай!.. Скорее!.. В штаб!..»  
 Стартёр. Убьют! — до смеха ли!  
 «Все вещи?» — «Все». — «Поехали!»  
 И крылья в рыжем снеге наобляп.

Сиденье мягко. Гостем их  
 Качаюсь между двух.  
 На тело мне, на кости мне  
 Спускается спокойствие,  
 Спокойствие ведомых под обух.  
 Ты-ся-че-дне-и-ноч-на-я!  
 Дороженька! Начнись! —  
 Эх, Пруссия Восточная!  
 Я знал: в пору урочную  
 Так просто нам с тобой не разойтись.

В бригадном СМЕРШ час за часом  
 Стань тут! — стань там! — стань так! —  
 Обыскивают начисто  
 И пишут. Номер значится  
 На каждой — сколько их ещё! — бумаг.  
 Я в странном безразличии,  
 Подавлен, оглушён,  
 Покорен их обычаям:  
 Пугает околичием  
 Впервые к нам примененный закон.

«Смотри! Смотри! Ну прост'-таки  
 Министр! Голова!  
 Чуть оторвясь от соски, — и:  
 “Этюды философские”,  
 “Этюды исторические”, а?»  
 (Да, много было писано...  
 Слова стоят вобслон.  
 И я на ловле Истины  
 Загонщиком был истовым,  
 Да только неизвестно, в чей загон.)

«У, волк! Вражина! Грозен как:  
 “Вопрос крестьянский... НЭП...  
 Что значит смена лозунгов...”  
 А притворялся козанькой!  
 Я патриот! — подумать было где б!»  
 (Её переобушили

В десяток Октябрей,  
 А я стою, и слушаю,  
 И думаю — не ту же ли  
 Готовят участь челяди псарей?)  
 «Лжепроводов убожество...  
 Коровьим языком...  
 Растянутостей множество...»  
 Что? Что? — о Ком? Ничтожество!  
 Ты это всё осмелился о Ком??  
 Как школьник провинившийся,  
 Молчу, лицом к стене,  
 Но чувством обострившимся  
 Всегда во мне клубившийся  
 Вопрос я ощущаю в глубине  
 Извечный: «Что есть истина?»  
 Как на картине Ге.  
 Всю горечь бескорыстную  
 Надменным коммунистам, им,  
 На их самодовольном языке  
 Как выскажешь? О, тучные!  
 Вам свет её не дан!  
  
 Замок. И оберучную  
 Большущую сургучную  
 Печать на обречённый чемодан...  
 Куда ж меня? Куда они?  
 Наверное — в тюрьму?  
 Осмерклось. Фары зажжены.  
 Немецкою налаженной  
 Шоссейкою мы катимся во тьму.  
 Пруд. Мельница. Проредина  
 В лесу. Сарай. Помост.  
 Знакомые отметины —  
 Блукают, черти. Едем мы  
 К Пассарге, к немцам пряменько на мост!  
 Здесь был поутру рано я —  
 Дивизий стык, голо.  
 Местечко безохранное...  
 На «*Hunde hoch!*» как пьяные  
 Мы мчим — и всё в молчаньи замерло.  
 И мост без мин, известно мне,  
 Нас ждут наготове.  
 И на открытой местности  
 Светят по всей окрестности  
 Лишь только дуры-фары наши две.  
 Фельдфебель подбоченится,  
 Я разъясно, кто чей.  
 Вы — удостовереньица,  
 Куда ж они поденутся? —  
 Достанете из глуби кителей.  
 Вот это будет зрелище! —  
 В сметане караси...  
 Я — волк? Вы волки те ещё!..  
 Смолчать? Но где, но где ещё  
 Найдёшь ты дураков, как на Руси?  
 Сказал им. Фары — нáтемно.  
 «Врёшь?.. Немцы?» — «В двух шагах.»  
 ...А было б замечательно?..  
 Ушла, ушла зайчатина!  
 И тут же к нам — ба-бах! ба-бах! ба-бах!  
 Дорога вся пристреляна,  
 Налёт немецких мин.  
 Инструкцией не велено

Конвою... чёрт, не стелено,  
 И грязь... И — порх! И — нет... И я — один.  
 Спасайся с жизнью краденой,  
 Канавку не хуля.  
 Лежкой, брюшком во впадину,  
 Туда бы вас и ладило! —  
 Осколки и взметённая земля!  
     Капут! Убьют! До смеха ли?  
     Забыт и чин и сан.  
     Поехали! Поехали!  
     Немножечко отъехали:  
     «Могли бы вы, *товарищ капитан?*..»  
 И — карту мне. И — место мне.  
 И — двёрчку в отвор,  
 И усики прелестные  
 С улыбкой самой лестною  
 Пощипывает вкрадчивый майор:  
     «Ведь вы же топографию...»  
     «Ваш портсигар! *Забыл!*..»  
     «Всё выкурит, добавь ему!..»

Как тот, кто эпитафию  
 Над собственной могилой сочинил  
 И твёрдо высек сам её  
 По мрамору резцом, —  
 Бесчувственный, беспамятный,  
 Уже не здешний, с каменным  
 Недвижным, отрешившимся лицом, —  
     Уже ни с чем не связанный,  
     К чему был так охоч, —  
     Везу их в пункт указанный,  
     Туда, куда обязаны  
     Они меня доставить в эту ночь.

Дорожкой неизбежною,  
 Упрямый однодум,  
 Сторонкой мимобежною,  
 То сляклою, то снежною  
 Везу себя сдаваться набезум.  
     Мы мчим асфальтом лужистым  
     В снопах холодных брызг.  
     Как странно: я ни ужаса  
     Не чувствую; ни мужество  
     На дерзкий не наталкивает риск;

Ни горечь отпевальная  
 Мне сердца не клешнит —  
 Покачка колыхальная  
 Мне что-то обещающее  
 Из образов мелькающих кроит.  
     Причудливо-озарное  
     Сверканье бытия! —  
     Частиц дрожанье марное  
     Выхватывает фарная  
     Под хмарным небом синяя струя.

Пережит первый ошелом,  
 И жизнь плывёт как сон,  
 И я, и я, легошенек,  
 Как пёрышко подброшенный,  
 Несвязан, бестелесен, невесом.  
     Что благо нам? что лихостно? —  
     Чья знает голова?  
     Кто в высоте надвихорной  
     Уловит рока прихоти,  
     Паденье отличит от торжества?

Прносятся старинные  
Дома, ста лет дубы,  
Шлагбаумы, разминные  
Пути, дощечки минные,  
Ограды, телеграфные столбы.  
В чугунной арке — свастика,  
Под арку — виадук,  
И — взлёт. И тут, как раз-таки,  
Меня мгновенным настигом  
Как ястреб мысль подхватывает вдруг:  
— В Москву?! Копил я истиха,  
Но в этой вот стопе, —  
В ней взрыв под всю софистику,  
Под всю эквилибристику  
Обтёрханных жонглёров ИКП\*.  
Лечу на них обвалиной! —  
Я камень не лежач! —  
И злобная оскалина  
Под кляшлым носом Сталина  
Была бы мне удача из удач.  
Здесь — циркуляр, примерная  
Инструкция — ломи!  
Здесь — СМЕРШ, здесь чернь карьерная,  
Но там, в Москве, наверное,  
Кого-нибудь пройму же я речьми?  
Бесхитростно-сермяжная  
Фронтовая братва!  
Прости-прощай, отважная!  
Дорога через-кряжная  
Ведёт меня к минуте торжества!..

У церкви домик пастора  
Армейский СМЕРШ занял.  
Меня отводят насторонь,  
Где разделён на карцеры  
Бетоном облицованный подвал.  
Ступеньки вниз. Проржавленный  
Замок. И вставлен ключ.  
Вступая в мир затравленный,  
Взглянуть на мир оставленный,  
Лицо я поднял к небу зимних туч.  
Где звёзды счастья?.. Исчужа,  
Когда гремнул замок,  
В просвет, едва очищенный,  
Под третью четверть выщерблен,  
Блеснул печально лунный облонок...

---

Всё наше нам восполнится,  
Вернётся нам в отдар.  
В СМЕРШ Фронта пеших, помнится,  
Из Остероде в Бродницы  
Нас гнал конвой казахов и татар.  
В чём честь? И в чём бесчестие?  
Сказал: не понесу!  
Нас было восемь. Шестеро —  
В шинелях, едим клейстером  
Промеченных в глубь ткани под ворсу.  
Я — офицер, и мне никак  
Нельзя... Не понесу!

---

\* Институт красной профессуры.

Кому ж?.. Их шесть *изменников*,  
 Шесть молчаливых пленников  
 С наспинным белым о́знаком «SU»\*\*.

Коль скоро русских — семеро,  
 И я — я капитан! —  
 Восьмой пусть, мило-немило,  
 Хоть нёмолод, но немец ведь, —  
 В пути пускай несёт мой чемодан.  
 Да и не кашей ячною  
 Тот немец был возвращён —  
 Эдал за жизнь удачную!  
 Он всей фигурой взрачною  
 От нашей мелкой жмуди отличён.

Осанка и инерция  
 Едва отнятых прав! —  
 Сержант — с советским сердцем, и  
 Советнику коммерции  
 За то, что тот одул и беложав,  
 Отдал распоряжение  
 Взять чемодан — и несть.  
 Шесть спин... Ни осуждения...  
 Шесть спин... Ни одобрения  
 В пяти «SU» корявых не прочесть.

И прав ли кто? Кто именно?  
 Четыре по два вслед...  
 Ни вин. Ни лиц. Ни имени.  
 Лишь странным взглядом вымерил  
 Меня шестой из пленников, сосед.  
 Глубоким, блеклым иссиня,  
 Погаснувшим в плену,  
 Он посмотрел так пристально,  
 Как будто «Что есть истина?»  
 Он, римлянину, молча мне вернул...

Шёл встречу дорогой грязною  
 Чуть попяну обоз.  
 Ездовые развязные,  
 Нестроевые, праздные,  
 И грохот ломыхающих колёс.  
 Давно ль б они в приветствии  
 Тянулись предо мной? —  
 Из всех восьми, кто в бедствие  
 Попал и шёл на следствие,  
 Теперь меня отличили толпой.

Мои ли канты красные  
 Их привлекли с телег? —  
 «Предатель!» — «Сволочь!» — «Власовец!» —  
 Кричали мне, в бесклассовый  
 Как будто я мешал войти им век...  
 Ругнёй и грязи комьями  
 Швыряли, слали мат...  
 Пред ними, незнакомыми,  
 Я улыбался — поняли б,  
 Что вовсе я ни в чём не виноват.

Но пуще разъяриться их  
 Заставил этот взор —  
 О, крики те!.. О, лица те!..  
*O, sancta, o, simplicitas!*\* —  
 Вязанка Яну Гусу на костёр...

---

\*\* Soviet Union.

\* О, святая простота! (*лат.*)

## ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

*Москва... как много в этом звуке  
Для сердца русского слылось!  
Как много в нём отозвалось!*

Пушкин

Вагоны стучат и грохочут,  
Кружась, проплывает земля...  
То крест раздорожный, то óчеп  
За синим дымком февраля.  
    То крест, то колодезный очеп  
    За синим дымком февраля.

А изморозь сеется на лес,  
Нагие деревья синя,  
И ёлок темнеющий навис  
В свечении мутного дня.  
Затянуты стелевом облак  
Невидящие небеса...  
В подскоках отчётливо дробен  
Настойчивый стук колеса.  
    В подскоках отчётливо дробных  
    Настойчивый стук колеса.

То выступит конус костельный,  
Мелькнёт на пролеске жильё...  
А мысли невольно, невольно  
Стучат и стучат своё.  
То сказочный конь «студебеккер»  
С разбегу взлетит на откос...  
Я еду — как Кюхельбекер  
На царский пристрастный допрос.  
И так же — везут жандармы,  
И так же, как он, я прав...  
Помятый, побитый товарный  
Идёт на восток состав...  
    Погнутый, порожний товарный  
    Идёт на восток состав...

На долгой открытой платформе  
Военные — я и конвой,  
Да четверо девушек в форме,  
Должно быть, что в отпуск домой.  
А то всё озябши, впритиску,  
Кто в вечных российских платках,  
Кто в шляпках, носимых в неблизких,  
Не-русски весёлых краях,

Кто в коже дублёной зипунной,  
Кто в лёгкой пушистой ворсе,  
Стары, середёвы и юны,  
И женщины, женщины все.  
То лоск чемоданов, то парша  
Чумазных мешков рядных.  
Пригрели детей постарше,  
Качают детей грудных.  
На нашей платформе, на смежных,  
И дальше, и дальше на двух...  
То личики девушек нежных,  
То скорбные лица старух.  
    То личики девушек нежных,  
    То скорбные лики старух.  
До края тесно, не прошёл бы  
Ногой, и зерну не упасть.  
Тоскливые женские толпы  
Сбирает советская власть.  
Сбирая, везёт их, везёт их,  
Суд будет им скор и прост...  
Чугунно стреляя в пролётах,  
Прошёл под колёсами мост.  
    Стреляя, стреляя в пролётах,  
    Прошёл под колёсами мост.  
Поверх одеяний неярких,  
Привставши, глядит детвора.  
Кружась, проплывают фольварки,  
Уходят назад хутора...  
    Кружась, проплывают фольварки,  
    Скрываются хутора...  
Уральской казачьей когда-то  
Я присказки слышал слова:  
«Живите, живите, ребята,  
Пока не узнала Москва!..»  
    Живите, живите, ребята,  
    Пока не дозналась Москва!..  
Стучат и грохочут вагоны,  
Колёсами в снежной пыли...  
Последние перегоны  
Ещё не советской земли...  
    Последние перегоны  
    Ещё не московской земли.  
Живите, фольварки и сёла,  
И режьте свиней к Рождеству,  
Молитесь в высоких костёлах,  
Пока вас не тянут в Москву.  
А мы — неужели ж, холопы,  
Нам доля покорных люба? —  
Поэтому ли из Европы  
Нас в Азию гонит судьба?..  
    А нас, недомык, из Европы  
    На родину тянет судьба...  
И, как в девятнадцатом веке,  
От самых германских границ  
Я еду, как Кюхельбекер,  
В дичайшую из столиц.  
Сольдау, и Млава, и Прасньш,  
И Остров, и Белосток...  
Волочит нас поезд красный  
В Московико, на восток...  
    Телячий, ободранный красный  
    В Совдепию, на восток...  
Остались недели до мира —

Жена — возвращенье — дом —  
Везут меня три конвоира,  
Ночью стерегут чередом,  
Настойчиво, безотвязно  
Меня охраняют днём,  
Ведут себя парни разно,  
Но выстрелят все втроём.  
Три звёздочки на погонах  
У старшего. Мы с ним на «ты».  
В попутных машинах, в вагонах  
И пешими до темноты  
Идём мы и едем, и едем,  
В пути не теряя ни дня,  
И водкою за обедом  
Старшой угощает меня.  
Мы держимся по уговору,  
Как будто худого нет.  
Мне легче, когда как на вора  
Не смотрят мне люди вослед.  
Им тоже так ехать вольготно,  
Спокойнее довезут.  
Наружно вполне беззаботны,  
Натужно меня стерегут.  
Решётчатой вереницей  
От снежных заносов щиты.  
Погонов уж нет, но — петлицы,  
И пуговицы золоты, —  
Кажусь чудаком-офицером,  
Не ставящим в грош устав.  
Всё ближе к эС-эС-эС-эРу  
Гремит и гремит состав.  
О, если б я крикнул! Но впусете:  
Надолго ль? о чём закричу?  
И надо бы крикнуть! — а с грустью  
Смотрю на людей и молчу.  
    С пронзительной тягостной грустью  
    Я в лица смотрю и молчу.  
Теперь я, теперь понимаю,  
Как мог, заморожен петлёй,  
Так странно молчать Николаев,  
Молчать перед ждущей толпой.  
Так, в царство подземное теней  
Мы все на петле палача  
Нисходим с последних ступеней,  
Пред роком немые, молча...  
Я жил?! — то над книгами функций,  
А то в диаматном раю... —  
Как солнце заката безумцу,  
Теперь освещает мою  
В чаду головных горений  
Нелюдски прожитую жизнь,  
То в поисках точек зрений  
То в жертвах на коммунизм.  
Нет месяца — в этом же бреде  
Черкнул — любя? не любя? —  
И с этим письмом, как с последним,  
Оставить, жена, тебя?  
Оставить на раздорожьи:  
Жил близок тебе или чуж?  
Родная! С раскаянной дрожью  
Прощения просит твой муж.  
А ты как пропавшего безвесть  
Меня будешь чтить в живых...

Не жди, пока дивная резвость  
Играет в движеньях твоих.  
Природы своей многодарной  
Бесплодной тоской не суши, —  
И я отойду, благодарный,  
Что я не сгубил души.  
Но кто же напишет и в ящик  
Опустит моё письмо?  
Бок-о-бок сидит автоматчик,  
Неспящей судьбы зреймо.  
И вдруг я встаю в озареньи,  
Иду, пробираясь меж ног, —  
С напрягшимся подозреньем  
Встаёт конвоир-паренёк.  
К военным иду в наитьи,  
К тем девушкам четверым:  
«Землячки! Вы что же молчите?  
А, девоньки? Поговорим!..»  
Им лестно. С призывной улыбкой  
Они мне место дают.  
Всё с той же покачкою зыбкой  
Вагоны стучат и бьют.

Всё с той же покачкою зыбкой

Вагоны колотят и бьют.

А я опьянён находкой.  
Движенья мои легки:  
Поглядывай, служба, вот как  
Умеют фронтовики!  
То девушкам в лица, то посверх —  
В лицо конвоира гляжу.  
Он — кликнуть второго, но после  
Раздумал: покойно сижу  
В шинели своей капитанской,  
Куда — ухагор лихой.  
Подсядь я не к ним, а к гражданским,  
Сейчас бы тут был второй,  
А так размягчели складки  
Его молодого лба:  
— Валяй, дескать, всё в порядке! —  
Последний денёк, и труба!  
Храню молодецкий пошиб,  
Плету болтовни кружевцо,  
И к крайненькой, самой хорошей,  
Своё приклоняю лицо.  
Смотрю не на грудь, не на плечи, —  
Смотрю, что глаза добры.  
Три прочих — закон извечный,  
Не слушают с этой поры.  
Никто нас, никто не слышит,  
Но всем мы, но всем видны...  
Она учащённо дышит  
И щёчки её красны.  
А что ведь? Так можно, право,  
В пути словить жениха.  
С улыбкою легконравой,  
Как будто хи-хи, ха-ха,  
Я ей говорю деловито,  
Надев выраженье любви:  
«Прошу. Не подайте. Виду.  
Услышав. Слова. Мои».  
Истомно гляжу, очарован,  
В её подресничную тьму:  
«Не бойтесь. Я. Арестован.

Везут. Меня. В тюрьму...»  
Вояка! — где нужно — храбрость,  
Где нужно — страстью горю:  
«Прошу вас. Запомнить. Адрес.  
Я дважды. Его. Повторю».  
Молчит. Опустила ресницы.  
Молчит, сама не своя.  
«Напишите. Четверть. Страницы.  
Напишите ей, что я...»  
И — глянула! Блеск неверный  
Тотчас потуплённых очей,  
Как будто дыханием скверны  
Коснулся её плечей,  
Как будто проказу, коросту,  
Увидев на теле моём,  
Вся съёжась, придавленным ростом,  
Отсела, где те втроём.  
Мой парень — и тот сожалеет.  
— Что, брат, не выходит, мол?..  
И женское сердце умеет  
Воспитывать комсомол!  
И добрые броневеют,  
Вступившие в комсомол...  
А то — так она со страху?  
Цыплёнку хочется жить.  
...Рассечена резким взмахом  
Моя последняя нить.  
С тоскою смотрю я на лица, —  
Стена между ними и мной...  
Всё ближе, всё ближе граница  
Подходит железной чертой.  
Подходит всё ближе граница  
Безжалостною чертой.  
Вот — столб пограничный. И, золот,  
На нём знаменитый герб:  
И бьющий по мозгам молот  
И режущий под корень серп.  
И бьющий по душам молот  
И режущий горло серп.  
Разболтанный, полусожжённый,  
Ворвался и стал эшелон.  
Начальник, но не станционный,  
Проходит через перрон.  
На шапке, на вороте белка,  
Оленя шёрстка унт.  
Досочка застругана стрелкой:  
«Дорога в Приёмный пункт».  
Расплывчивым чёрным по стрелке —  
Дорога в *приёмный пункт*.  
«Сходи-и-и!» — И, проживши сызмальства  
Послушно свои года,  
Все женщины сходят. Начальство  
Укажет, кому куда.  
Идут, нагрузившись, как мулы.  
Узлы в напряжённой руке.  
Мешки за плечами. Баулы.  
Начальник идёт налегке.  
Отведенный пункту сбора,  
Обнесен забором сарай,  
Ко внешней двери затворы  
Прихлопаны невзначай.  
Ко внешней двери запоры  
Приболчены невзначай...

Сегодня приедем стоянка  
И несколько дней ещё.  
На карточки, формы и бланки  
Правительство не нищо.  
Заполнят они анкеты,  
Покажут, где были и с кем,  
Как бросили землю Советов  
И к ней воротились зачем.  
Анкеты своим порядком  
Пойдут, на особом счету,  
А женщины — в Котлас и в Вятку,  
И в Кемерово, и в Читку,  
И будут там ждать решенья,  
Не загромождая дорог.  
Одним придёт прощенье,  
Тем высылка, этим срок.  
Меня — не в закут: опознаша  
Своих, доверяют своим.  
Чиста подорожная наша,  
И путь наш неумолим.  
Я знать не хочу и не знаю,  
Что именно писано там, —  
Надменно перроном шагаю,  
И двое идут по пятам.

Шагаю перроном, шагаю,

И двое идут по пятам...

Их третий к платформе, где грузы,  
Багаж наш общий снёс.  
Нас примут в лоно Союза,  
Как будет готов паровоз.  
Средь их набитых тяжелеет  
И мой роковой чемодан:  
Сержанты везут — трофеи,  
Я — приговор, я — Магадан.  
Дойдя по платформе до края,  
Я делаю поворот, —  
Расходятся, уступая  
Меж ними мне проход.  
И — снова за мной, в напряженьи, —  
Полёта ли ждут, прыжка?.. —  
Восточный ветер, круженье  
Порхающего снежка.

Всё чаще, всё гуще круженье

Порхающего снежка.

А ветер играет, ушами  
Военной шапки трепля.  
Иду, а внизу под ногами  
Отечества земля.  
В Европе я мало вызнал,  
Промчал меня вихорь лихой...  
Земля моей отчизны  
Опять под моей ногой.  
Хожу — и конвой мне позабыть,  
Мне кажется — я одинок.  
Сто сажен лицом на Запад,  
Сто сажен лицом на Восток.  
Сто сажен, сто сажен на Запад,  
И столько же на Восток.

А ветер швыряет жмени  
И блёстками жжёт свежо.  
Земля сорока поколений!  
Мне вновь на тебе хорошо!..  
Сыт Лондон. Пирует Вена.

Наряден и весел Стокгольм.  
И нам бы туда, *ubi bene*\*,  
Забывши лачужную голь...  
Так нет, не забыть же, на́ поди! —  
Вот едут, — зачем? спроси...  
Не жить им покойно на Западе,  
Оставив сердца на Руси.  
Слепящею непогодиной  
Сдвигает всё ближе озор.  
Какая ты к чёрту родина,  
Какая ты мать, позор?..

Позор мой, моё отечество!  
В лохмотьях, завистно, грубо,  
Во власти прохожей нечисти —  
За что ты мне так любо?  
Страна, где орлами-солдатами  
За метр платят по сто,  
Бессмысленную, проклятую,  
Люблю я тебя за что?  
Где гибкие плечи девушек  
Трудом лошадиным грубят,  
Охаянную везде уже,  
За что я люблю тебя?  
Детишки промёрзлой репою  
Питаются к февралю, —  
Безжалостную, нелепую,  
За что я тебя люблю?  
Всю, всю сквозь мелькание частое,  
Снежинок звездчатых кишь,  
Я вижу тебя, несчастную,  
Какая ты вдаль лежишь:  
Гнилую соломку избную,  
Растрёпанную в стрехе,  
И баб, запряжённых отчизною  
Замест лошадей в сохе.  
С утра их — давай количество! —  
Сгоняет колхозный чин.  
Из окон в век электричества  
Мерцает огонь лучин.  
Рабочих, свалённых тяжестью  
Шести непрерывных смен;  
Московско-грузинское княжество  
У самых столичных стен,  
Где орден и назначение  
Решают меж близких лиц,  
Где пьют до остервенения  
И пользуются танцовщиц,  
Учёных из Академии,  
Сверлящих в рудниках медь,  
И имени Сталина премии  
Для тех, кто не смеет сметь.  
Воркутскими чёрными штольнями  
Бессильные врубы кирки;  
Девчёнок-студенток — крамольные,  
Посажены в воронки.  
Глупцов заграничных с блокнотами —  
Возить их знают куда.  
Чекистами и сексотами  
Червящие города.

---

\* Где хорошо. (Из латинской пословицы: *Где хорошо — там и отечество.*)

А в громе заводов на месте их,  
За убылью взрослых рук, —  
Мальчишек из школ ремесленных,  
Глотающих слёзы разлук.  
Пред ликами всепрощающих,  
Поверх преклонённых голов, —  
Священников, благословляющих  
С амвона большевиков...  
Расходится вьюга зимняя,  
Не подобру весела...  
Попалась, Ты, легкоимная!  
Поверила и пошла...  
...Когда бастовали Ореховы,  
На бомбах рвались князья,  
Когда тосковали Чеховы  
Что жить — беспросветно, нельзя!  
Не вынес насилия грубого  
Надворный советник Герцен,  
Белинские, Добролюбовы  
Стяжали единоверцев,  
Стращал детей Салтычихами  
Любой семинарский гусь, —  
Дремля переулками тихими,  
Такой ли была ты, Русь?..  
Спасибо, отцы просвещения!  
Вы нам облегчили судьбу!  
Вы сеяли с нетерпением —  
Взгляните же на колосьбу!  
Травили вы чуткого Гоголя, —  
Травят теперь всех нас сплошь.  
Писака! Макая, не много ли,  
Смотри, на перо берёшь?!  
Прносятся клочья белые  
И лепят в лицо лепма...  
Ты этого, ты хотела ведь!  
Ты сделала всё сама!  
Сама ты! — Но чьими силами?..  
Сама... Но стихией чьей??  
Безумец, трясти ль могилами,  
Тревожа покой костей?..  
Россия! То песнями нежными,  
То бранью тебя чествуем.  
А мы-то? а мы-то? где же мы?  
Мы — что же в России? — гостим?..  
«Россия!» — словцо, игру нашли!.. —  
Где ж те, кто в России живут?  
Как я, не такие ли юноши  
Её подпоили на блуд?  
В догадках бормочем гадательски —  
Да что? да когда? да коё? —  
За словом «Россия» — предательски  
Убожество прячем своё.  
Потащат в ненастье из затишка —  
Голосим: — Кому повем? —  
Поносим Россию-матушку,  
А сами идём к ней ни с чем.  
Не вечно, мол, виться вервию,  
Ему оборваться стать, —  
Эх, юноши правоверные!  
Не мы ль помогали сукать?  
Прошколенный, проофицеренный,  
Вот я — я служил им как пёс.  
Стою пустой, растерянный

И думаю: что ж я донёс?  
Жилось мне поверху, сполагоря  
И, проживши двадцать шесть, —  
Да полно, да знал ли, что лагеря  
В Советском Союзе есть?  
В орлы я перился ранёшенько.  
Схватили — швырнули — глядь... —  
Да где ж ты была, Дороженька?  
Да как же тобой шагать?  
Морошка под тундренным настом,  
Болотных повалов ржа... —  
«Шоссе Энтузиастов» —  
Владимирка каторжан!..  
Родится предатель в ужасе,  
Звереет в голоде плоть...  
Оставь мне гордость и мужество!  
Пошли мне друзей, Господь!  
О Боже, о, Ты, Кем созданы  
Твердь суши и водная гладь!  
Быть может и мне не опоздано  
Ещё человеком стать?!  
Россия! Не смею жизнь мою  
Я прежнюю звать свою.  
Сегодня рождаюсь сызнова  
Вот здесь, на твоём краю...

---

Стучат и грохочут вагоны,  
По-порожню веселы,  
За ключьями дыма, в нагон им,  
Бегут вперемежку стволы.  
Всё пусто. Ни человека.  
Стоим на платформе. Мороз.  
Проносится лесосека,  
Кустовник на ней порос.  
То избный порядок мелькучий  
Вдоль прясельной городьбы,  
То проволокой колючей  
Обгнутые столбы.  
И в меркоти передвечерней  
Проносится, я узнаю,  
Нам, русским, приветом матерним  
И пугалом воронью —  
О четверо ног, по кобыльи,  
Опершись, облезла, сера,  
Поставленная на копыльи  
Охранная конура.  
Примета родного пейзажа —  
Прилагерной вышки тёс!  
Ты чаще погостов и даже  
Не чаще ли белых берёз?  
Идут пятилетки и войны.  
Лишь ты, не подвластна годам,  
Всё так же, всё так же назойно  
Мелькаешь вослед поездам.  
Повсюду, повсюду назойно  
Промелькиваешь поездам.  
Изгнившая вышка — призрак  
С провалами чёрных дыр —  
Да! Призраком Коммунизма  
По Марксу вошла ты в мир.  
Видением коммунизма

По Марксу вошла ты в мир.

---

За окнами, мглою кроясь,  
Ночная страна мертва.  
Идёт пассажирский поезд  
По линии Минск—Москва.  
Под полночь на стрелках, на скрестьях  
Всё чаще колёсный гром,  
Всё ярче, всё чаще предместья  
Сверкают за белым окном.  
Всё ярче, всё лучезарней  
За окнами свет ночной.  
Приехали! Столб фонарный  
И в небе — блеск заревой.  
Снуёт вокзал людовитый.  
Знакомая суета...  
Но холодом ледовитым  
Душа моя объята.  
Дубовый и мраморный налоск  
И тёплые струи метро...  
А сердце, а сердце осталось,  
Где хмуро теперь и мокро...  
Где вспышки ночные орудий,  
Высокий снарядный хлоп.  
Где смелые чистые люди  
И мой схоронили бы труп.  
Прощально стою пред чужою  
Безумной, враждебной Москвой,  
Знакомых, родных и родное  
Оставив на передовой.  
Другие родные, с кем тесно  
Нанижет нас общий крюк,  
Сейчас в воронке на Пресню,  
Потом за Полярный Круг,  
Где площадки во тьме тунгусской  
Не в каждом бараке чадят, —  
Сверкает вокзал Белорусский!  
Сверкает Охотный ряд!  
Нависнув над улицей узкой,  
Огни Совнаркома горят!  
Засышь его завтра ядра,  
Корёжься бетон и сталь, —  
Вот этого только театра  
Четвёрку коней мне жаль.  
    Лишь только Большого театра  
    Квадригу коней мне жаль.  
Во мгlistом туманце согнулся —  
Принесший России *печатать*.  
Что, старче? Для Краткого Курса  
Уж стоило ль хлопотать?..  
    Пожалуй, для Краткого Курса  
    Не стоило хлопотать.  
Лежат две прекрасные нимфы  
Над Домом Конца Дорог...  
Меж ними — аленький вымпел,  
Как гаршиновский цветок.  
    Меж лампами треплется вымпел,  
    Как красный, как красный цветок.  
Кругом, — где темнее. Там пропуск  
Кому-то показан наш.  
Калитку в чёрную пропасть

Пред мной отворяет страж.  
Лубянка! Взяла ты полмира!  
Ещё одного — прими!..  
...Над шеей гремит секира  
И лязгает дверь за плечьями.

## ПОСЛОВИЕ

На Кавказе, в ущельи реки Бзыбь, привелось мне увидеть странное дерево. Семя, давшее ему жизнь, попало в землю в тёмном приглубке, под челюстью огромной скалы. Укрепившись в недоброй, неплодной почве, дерево тронулось в рост, обещая много саженей стройной высоты, — и с первых же вершков роста оказалось лишённым простора, воздуха и солнечного света. Дерево неминуемо должно было умереть — оно родилось *не там*.

Но ему очень хотелось жить! И с узловатой решимостью оно согнуло свою лесину под прямым углом и погнало её далеко вбок — между скалой и землёй, походя на провисший перешипленный хребет выползающего из-под обвалины оленя. А потом изогнулось в корчах и стало расти — не вверх, но вкось, отталкиваясь от слизи камня локтеватыми опухлыми сучьями, одними ветвями вытягиваясь к недостижимому светлому небу, другими робко ощупывая боковой простор. Все силы и соки дерева ушли на укрепление нижних изгибов, поддерживающих уродливый стан; что доходило выше — бросалось с нерасчётливой щедростью в несколько шумящих ветвей; но не кончалось оно тем успокоенным густолиственным овершьем, какое бывает у здоровых, стоерастущих деревьев.

Я вспомнил об этом дереве, когда ты, мой труд, выбился далеко во вторую половину. Я уже знал, что ты жизнеспособен, что ты выжил и будешь жить. Но с тем большей горечью я разглядел твоё болезненное несовершенство. Начатый случайно, продолженный порывами, возвращённый под отвратительно расслабляющим страхом, с тяжело доставшимися изломами роста, карабкаясь и перетягиваясь через расщелины, ты — весь причуда, стихотворная причуда, невозможная, немислимая после столетия развитой прозы одного из великих литературных языков. Так много мне хотелось вложить в тебя, хлебная из глиняной миски отвратную лагерную баланду, выходя в одежде из каторжного барака на издевательскую ночную проверку, — и ничто не вместилось в тебя, даже не начало вмещаться! Я изнемог от тебя ещё вдалеке до конца, я проклинал твой ритм, когда он был единственным ритмом моего дыхания, я уже не наращивал тебя, а только судорожно повторял скудеющей памятью.

Но и даже такой ты удивляешь меня, счастливец, что ты выжил, что ты — есть. В той измученной глубине, откуда ты взял начало, под пластами четырёх десятилетий России Советской, задохлись семена многих, многих — таких, как ты, и лучших, чем ты.

Ты мог бы вырасти в дружном молодом лесу.

Ты вырос над могилами.

1948 — 1952  
Марфино — Экибастуз